

Aleksandr Afanasievich
А. А. П^ОТЕБНЯ.

ИЗЪ ЛЕКЦІЙ

ПО ТЕОРІИ

СЛОВЕСНОСТИ.



Басня. Пословица. Поговорка.



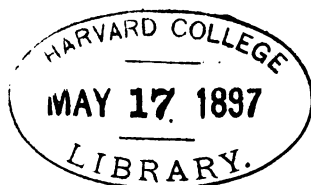
ХАРЬКОВЪ.
Типографія К. Счасни, Сумская улица, домъ № 1-й.
1894.

~~VII. 3547~~

~~3284.100~~

XP 5097

✓



Denny fund.

На основаніи 41 ст. § 1-го п. 4 и ст. 138-й Устава Россійскихъ Университе-
товъ, 1884 года, настоящее сочиненіе и предисловіе печатать и выпустить въ
свѣтъ разрѣшается. 1893 г. Декабря 10 дня.

Ректоръ Императорскаго Харьковскаго Университета *М. Алексѣенко.*

ОГЛАВЛЕНІЕ.

- Предисловіе. I—II
- I. Отношеніе поэтическихъ произведеній къ слову. Приемы изслѣдованія. Басня въ сборникѣ и въ жизни. Примѣры басни политической и бытовой. Басня и дѣйствительный случай. Разница между басней и эмблемой. Единство дѣйствія въ баснѣ . 1—20
- II. Основныя свойства *образа* басни: рядъ дѣйствій, единство ихъ, краткость разсказа, конкретность или единичность дѣйствія. Отношеніе образа къ объясняемому имъ явленію. 21—38
- III. Случаи безсознательнаго примѣненія басни. Басни съ поясненіемъ. Двойная басня. Опредѣленіе басни Лессинга. Неправильный взглядъ на отношеніе басни къ нравоученію, обобщенію 39—58
- IV. Басня не есть доказательство общаго положенія. Что такое научный примѣръ и научное доказательство? Отношеніе примѣра къ общему положенію, факта къ закону. Басня есть конкретный фактъ, около котораго группируется нѣсколько обобщеній. 59—76

II.

- V. Происхождение басни. Въ чемъ состоитъ пользованіе готовой басней. Переходъ басни въ пословицу при помощи инверсіи. 77—92
- VI. Приемы превращенія сложнаго поэтическаго произведенія въ пословицу. Значеніе этого процесса для мысли. Главныя задачи критики-сужденія о готовомъ поэтическомъ произведеніи. Примѣненіе критическихъ приѣмовъ къ пословицѣ изъ наблюденій. Поговорка. 93—112
- VII. Элементарныя формы поэзіи: слова образныя и безобразныя. Превращеніе поэтическихъ элементовъ въ прозаическія и наоборотъ. 113—125
- VIII. Слово не передаетъ мысли. Значеніе слова для самого говорящаго. Въ чемъ состоитъ пониманіе слушающаго. . . 126—134
- IX. Главнѣйшія обобщенія объ отношеніи *слова* къ сложнымъ поэтическимъ произведеніямъ. Примѣры, поясняющіе общее положеніе: всякій знакъ (поэтическій образъ)—многозначенъ. Отношеніе критики къ поэту. 135—144
- X. Значеніе поэческаго произведенія для самого автора. Поэтическій образъ, какъ средство выразить себя. Примѣръ изъ поэзіи Лермонтова. 145—162

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящія лекціи по теоріи словесности представляют небольшой частный курсъ. Издаются онѣ по единственному экземпляру записокъ одной изъ слушательницъ, съ небольшими поправками по черновымъ наброскамъ самого профессора. Предметомъ этихъ чтеній избранъ былъ вопросъ объ отношеніи поэтическихъ произведеній къ слову, а исходной точкой—разборъ сложнаго поэтическаго произведенія, басни. По содержанию, лекціи находятся, между прочимъ, въ связи съ послѣдними двумя главами соч. „Мысль и языкъ“, представляя также повѣрку и развитіе общихъ положеній В. Гумбольдта (Ueb. d. Verschied.) на основаніи избраннаго круга литературныхъ фактовъ: басни, пословицы, поговорки. Въ изложеніи, характеризующемъ вообще методу преподаванія А. А. Потебни, слѣдуетъ отмѣтить обиліе примѣровъ, предпосылаемыхъ общимъ выводамъ, отсутствіе апріорныхъ обобщеній, кажущіяся отступленія въ сторону („кстати“, „между прочимъ“), дающія широкую психологическую подкладку разбираемымъ явленіямъ, озаряющія ихъ яркимъ свѣтомъ глубокой мысли. Приспособленіе автора къ пониманію слушательницъ, выразившееся не только въ выборѣ и распредѣленіи

II.

матеріала, въ нисхожденіи отъ знакомаго, извѣстнаго къ менѣе извѣстному, незнакому, но и въ самыхъ опредѣленіяхъ, въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, важно въ педагогическомъ отношеніи.

Желая воспроизвести лекціи въ ихъ неприкосновенной цѣлости, со всѣми оттѣнками методологическихъ пріемовъ автора, пришлось оставить многое, что, вѣроятно, было бы выпущено при изданіи имъ самимъ своихъ записокъ по теоріи поэзіи и прозы.

В. Нарцисвъ.

Лекція 1-я.

Нѣсколько лекцій я намѣренъ посвятить вопросу объ отношеніи поэтическихъ произведеній къ слову.

Говорятъ, всѣ дороги ведутъ въ Римъ, но съ точки зрѣнія методической, для удобства преподаванія можно отдать предпочтеніе тому или другому пути. Я считаю болѣе удобнымъ начать не со слова, т. е. не съ разъясненія постоянныхъ его частей, а съ поэтическихъ произведеній. Изъ послѣднихъ я выберу такую форму, отъ которой, какъ мнѣ кажется, болѣе удобно ити въ разныя стороны: съ одной стороны—къ такимъ сложнымъ поэтическимъ произведеніямъ, какъ романъ и повѣсть; а съ другой—къ наиболѣе простымъ, которыя мы встрѣчаемъ въ каждомъ словѣ, въ извѣстномъ состояніи его развитія. Такою формою можетъ служить намъ басня.

Общее условіе практическихъ наблюденій заключается въ томъ, что-бы по возможности устранить все препятствующее наблюденію. Кромѣ внѣшнихъ условій, препятствующихъ наблюденію, о которыхъ здѣсь нѣтъ нужды говорить, есть внутреннія, зависящія отъ наблюдателя и отчасти совершенно неустранимыя, отчасти

такія, съ которыми мы можемъ до извѣстной степени бороться. Я имѣю въ виду здѣсь то, что можно назвать *предразсудкомъ*, готовымъ мнѣніемъ, которое невольно переносится нами въ наблюдаемый предметъ.

Въ обычномъ употребленіи слово *предразсудокъ* имѣетъ значеніе слишкомъ узкое. Предразсудкомъ называютъ, напримѣръ, вѣру въ то, что нехорошо вставать съ постели лѣвой ногой и т. п. Но существуютъ предразсудки и въ наукѣ, и при томъ не такіе только, которые могутъ быть разъ навсегда устранены, но и такіе, которые надвигаются постоянно, и устраненіе коихъ сопряжено съ каждымъ актомъ правильнаго наблюденія и обобщенія. Въ буквальномъ смыслѣ слова предразсудокъ есть то, что рѣшено нами прежде и что въ свое время было справедливо и законно, но что оказывается несправедливымъ при новомъ оборотѣ нашей мысли. Я объясню примѣромъ, что такое предразсудокъ науки. Положимъ, кто нибудь захотѣлъ бы изучать формы древеснаго листа, и съ этою цѣлью дѣлалъ бы наблюденія и обобщенія, выражая эти обобщенія въ рисункахъ. Такимъ образомъ, отвлекаясь отъ частнаго, оставляя все несходное въ сторонѣ, онъ получалъ бы типичныя изображенія дубоваго листа, или берестоваго (съ кривыми боками). Очевидно, что такія наблюденія и рисунки служили бы на пользу тѣмъ, которые вновь приступили бы къ изученію этого вопроса. Но если бы послѣдніе сочли единственнымъ источникомъ знанія эти обобщенія, то, очевидно, они лишились бы возможности всякаго развитія этого знанія.

Этотъ примѣръ можетъ показаться нелѣпымъ; можно подумать, врядъ ли такъ поступали въ наукѣ. Но въ естественныхъ наукахъ, напримѣръ, долгое время поступали именно такъ. Такое схематическое понятіе, такое обобщеніе составлено было о видахъ животныхъ и растеній, и это было совершенно необходимо; но въ то же время это повлекло за собой то явленіе, что въ теченіе многихъ лѣтъ, до послѣднихъ десятилѣтій нашего вѣка, въ зоологіи и ботаникѣ виды считались постоянными: полагали, что между обобщеніями, сдѣланными человѣческой мыслью, которыя можно назвать понятіями (о волѣхъ, лисицѣхъ, собакѣхъ и т. п.), въ самой дѣйствительности нѣтъ той связи, которой не было на бумагѣ, схематически, въ мысли. Уничтоженіе этого предразсудка, и вмѣстѣ съ тѣмъ ученіе объ измѣнчивости видовъ, составляетъ крупное явленіе въ исторіи науки.

Обстоятельство, на которое я указываю, — трагично: то, что необходимо для успѣховъ человѣческой мысли, является въ послѣдствіи помѣхой для дальнѣйшаго ея развитія.

Общее правило, которое всетаки недостаточно для устраненія такихъ предразсудковъ, состоитъ въ томъ, что мы должны разсматривать отвлеченія, какъ пособіе для нашей мысли; но не должны имъ подчиняться, не должны смотрѣть на нихъ, какъ на единственный источникъ нашихъ знаній.

Другой примѣръ предразсудка мы видимъ въ понятіи о словѣ. Обыкновенно мы разсматриваемъ слово

*

въ томъ видѣ, какъ оно является въ словаряхъ. Это все равно, какъ если бы мы рассматривали растеніе, какимъ оно является въ гербаріи, т. е. не такъ, какъ оно дѣйствительно живетъ, а какъ искусственно приготовлено для цѣлей познанія. Отсюда произошло то, что многія явленія языка понимались ошибочно. Тоже самое и съ поэтическими произведеніями.

Для того чтобы замѣтить, изъ чего состоитъ басня, нужно рассматривать ее не такъ, какъ она является на бумагѣ, въ сборникѣ басенъ, и даже не въ томъ видѣ, когда она изъ сборника переходитъ въ уста, причемъ самое появленіе ея недостаточно мотивировано, когда, напримѣръ, прочитываетъ ее актеръ, чтобы показать свое умѣнье декламировать; или, что бываетъ очень комично, когда она является въ устахъ ребенка, который важно выступаетъ и говоритъ: „Ужъ сколько разъ твердили міру, что лесъ гнусна, вредна.....“ Отрѣшенная отъ дѣйствительной жизни, басня можетъ оказаться совершеннымъ празднословіемъ. Но эта поэтическая форма является и тамъ, гдѣ дѣло идетъ о вещахъ вовсе нешуточныхъ—о судьбѣ челоѣка, челоѣческихъ обществъ, гдѣ не до шутокъ и не до празднословія.

Наблюдать такіе случаи въ дѣйствительности трудно, насколько трудно систематическое наблюденіе въ исторіи. Это не лабораторія, гдѣ можно предварительно приготовить, подвести до извѣстной степени явленіе. Эта трудность неустранима. Однако же есть приблизительно вѣрныя изображенія такихъ случаевъ

(конечно такіа изображенія суть также отвлеченія), близкихъ къ дѣйствительности. Я имѣю въ виду здѣсь тѣ случаи, когда люди предлагаютъ эту поэтическую форму, не думая о томъ, что они предлагаютъ, когда она является мимоходомъ. Я намѣренъ привести весьма древній примѣръ (не скажу самый древній, — это было бы неправильно, потому что эта поэтическая форма является во времена, на столько древнія, насколько хватаетъ человѣческое изслѣдованіе до нашихъ дней). Въ книгѣ Судей Израильскихъ разсказывается слѣдующій случай:

„Пошли нѣкогда дерева помазать надъ собою царя, и сказали маслинѣ: царствуй надъ нами. Маслина сказала имъ: оставлю ли я тукъ мой, которымъ чувствуютъ боговъ и людей, и пойду ли скитаться по деревьямъ? И сказали дерева смоковницѣ: иди ты, царствуй надъ нами.

„Смоковница сказала имъ: оставлю ли я сладость мою и хорошій плодъ мой, и пойду ли скитаться по деревьямъ?

„И сказали дерева виноградной лозѣ: иди ты царствуй надъ нами. Виноградная лоза сказала имъ: оставлю ли я сокъ мой, который веселитъ боговъ и человѣковъ, и пойду ли скитаться по деревьямъ? Наконецъ сказали всѣ дерева терновнику: иди ты, царствуй надъ нами. Терновникъ сказалъ деревьямъ: если вы по истинѣ поставляете меня царемъ надъ собою, то идите, покойтесь подъ тѣнью моею; если же нѣтъ, то выйдетъ огонь изъ терновника и пожжетъ кедры Ливанскіе“.

Это писалось по всей вѣроятности. тенденціозно, т. е. съ точки зрѣнія священника, который былъ противъ установленія царской власти въ родѣ Авимелеха. (Кн. Судей, Гл. IX, рѣчь Іоама). И такъ самъ Іоамъ призналъ наслѣдственную власть для Израильтянъ вредной. Обстоятельства, при которыхъ онъ рассказывалъ басню, неправдоподобны; невѣроятно, напр., чтобы онъ сталъ на гору, откуда говорилъ и былъ слышимъ всѣмъ народомъ.

Касаясь подробностей этой басни, я укажу на двѣ черты: во 1-хъ, то мѣсто, гдѣ говорится о виноградной лозѣ: („оставлю ли сокъ мой, который веселитъ боговъ и человѣковъ“..), въ монотеистической книгѣ является указаніемъ на то, что басня эта была распространена болѣе, чѣмъ самый еврейскій народъ; что она возникла не вмѣстѣ съ монотеизмомъ. Другая черта — что царскую власть принимаетъ самое негодное изъ растеній, именно терновникъ.

Рѣчь, съ которою обращается онъ къ другимъ растеніямъ, есть иронія: какую тѣнь можетъ дать терновникъ, напр., масличному дереву?

Угроза терноваго куста сжечь огнемъ непослушныхъ — черта традиціонная. Извѣстно, что въ древнихъ книгахъ Ветхаго Завѣта говорится о горящемъ терновомъ кустѣ, изъ котораго исходилъ голосъ Божій. Остается подъ сомнѣніемъ, изобрѣтена ли эта басня нарочно для событія. Я думаю — нѣтъ, я думаю — это была древняя форма; замѣтимъ только одно, что эта форма была, повидимому, неизбѣжной, напрашивалась

сама собою для разрѣшенія вопроса, имѣвшаго большую практическую важность. Такова и другая басня— во второй кн. Царствъ, гл. XII.

„Въ одномъ городѣ были два человѣка: одинъ богатый, а другой бѣдный.

У богатого было очень много мелкаго и крупнаго скота, а у бѣднаго ничего, кромѣ одной овечки, которую онъ купилъ маленькой, и выкормилъ, и она выросла у него вмѣстѣ съ дѣтьми его; отъ хлѣба его она ѣла, и изъ его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него, какъ дочь. И пришелъ къ богатому человѣку странникъ, и тотъ пожалѣлъ взять изъ своихъ овецъ или воловъ, чтобы приготовить обѣдъ для странника, который пришелъ къ нему, а взялъ овечку бѣдняка и приготовилъ ее для человѣка, который пришелъ къ нему.“

Эта басня не требуетъ никакихъ поясненій, и, мнѣ кажется, она не внушаетъ особеннаго сомнѣнія въ дѣйствительной возможности самаго случая. Можетъ быть, въ самомъ изложеніи его была какая-нибудь мелочь не такъ, какъ сдѣлалъ Нааанъ. Можетъ быть онъ сообщалъ Давиду о случаѣ злоупотребленія въ еще болѣе опредѣленной формѣ, напр. не сказалъ „въ одномъ городѣ,“ а „*тутъ, въ этомъ городѣ*“ одинъ человѣкъ сдѣлалъ то-то и то-то.

Третій случай такого же характера: Въ Греческой колоніи Гимерѣ, въ Сициліи, около 560 года до Р. Х. жители этого города, для того чтобы отмстить сосѣдямъ, вручили власть надъ войскомъ Фаларису и,

кромѣ того, собирались разрѣшить этому Фаларису имѣть постоянныхъ тѣлохранителей, или, по нашему, гвардію. Тогда нѣкто Стезихаръ разсказалъ имъ басню о спорѣ оленя съ конемъ: У коня съ оленемъ былъ споръ: конь не могъ одолѣть оленя въ быстротѣ. Тогда конь пришелъ къ человѣку и сказалъ: „сядь на меня и вложи удила въ уста мои, и помоги мнѣ догнать оленя“. Человѣкъ такъ и сдѣлалъ. Но послѣ того, какъ олень былъ побѣжденъ, человѣкъ не захотѣлъ уже слѣзть съ коня и вынуть удила изъ устъ его. „Гимерцы“, сказалъ Стезихоръ, окончивъ свой разсказъ, „съ вами, желающими отомстить врагамъ своимъ, будетъ тоже, что и съ конемъ“. *) Третья басня, какъ видите, имѣетъ совершенно практическій характеръ. Мнѣ кажется, изъ этого третьяго примѣра можно заключить, что мы имѣемъ дѣло не съ игрушкой, а съ такою формой мысли, которая, удачно или нѣтъ (это зависитъ отъ многихъ условій), но во всякомъ случаѣ разсматривается людьми, какъ необходимая форма ихъ мысли, притомъ такая, которая должна сослужить имъ важную службу въ обстоятельствахъ, когда не до шутокъ и празднословія.

До сихъ поръ мы имѣли дѣло или съ дѣйствительно историческими свидѣтельствами, или съ такими, которые претендуютъ на значеніе историческихъ. Я думаю, о всѣхъ трехъ случаяхъ можно сказать, что если не такъ дѣйствительно было, то въ высшей степени вѣроятно, что такъ могло быть. Четвертый примѣръ я

*) Arist., Rhet, 2,20.

приведу изъ повѣсти Пушкина „Капитанская дочка“. Когда Гриневъ, указывая на опасное положеніе Пугачева, совѣтовалъ ему образумиться, Пугачевъ „съ какимъ-то дикимъ вдохновеніемъ“ разсказалъ ему сказку, слышанную имъ въ дѣтствѣ отъ старой калмычки:

„Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: „скажи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего-на-все только тридцать три года?“ — „Оттого, батюшка, отвѣчалъ воронъ, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной“. Орелъ подумалъ: давай попробуемъ и мы питаться тѣмъ же. Хорошо. Полетѣли орелъ да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь, спустились и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похваливать. Орелъ клюнулъ разъ, клюнулъ другой, махнулъ крыломъ и сказалъ ворону: „нѣтъ, братъ, воронъ; чѣмъ триста лѣтъ питаться падалью, лучше разъ напиться живой кровью; а тамъ, что Богъ дастъ!“.

На основаніи этихъ четырехъ примѣровъ мы приступимъ къ рѣшенію вопроса о томъ, изъ чего именно состоитъ басня. Очевидно, что во всѣхъ четырехъ примѣрахъ мы различали двѣ части: одну, которая представляетъ басню въ томъ видѣ, какъ она вошла въ сборникъ, если бы ее оторвать отъ тѣхъ корней, на которыхъ она находится; и другую—эти самые корни. Первая изъ этихъ частей,—или случай вымышленный, какъ напр. въ трехъ приведенныхъ примѣрахъ (дерева выбираютъ себѣ царя; конь спорить съ оленемъ и призываетъ въ союзники человека; воронъ говоритъ съ орломъ;) или же случай, который не имѣетъ ничего

фантастическаго, который будучи разсматриваемъ и отдѣльно отъ корней, съ которыми онъ связанъ, не заключаетъ въ себѣ ничего переноснаго, какъ басня Наана.

Общая форма, въ которую укладывается наша мысль, есть то, что называется въ грамматикѣ предложениемъ. Когда я говорю: „эта стѣна бѣла“, то въ этомъ предложении мы различаемъ подлежащее и сказуемое. Въ виду однако же того, что въ грамматическомъ предложении подлежащее и сказуемое не всегда соответствуютъ тому, о чемъ я теперь говорю, намъ будетъ проще сказать такъ: самая общая форма человеческой мысли это та, когда нѣчто, требующее объясненія, относительно новое, относительно трудное—то, что мы назовемъ грамматическимъ терминомъ—*подлежащее*, объясняется мыслью, которая намъ прежде, до нѣкоторой степени была извѣстна и которую мы назовемъ *сказуемымъ*. Теперь я предложу вопросъ: гдѣ подлежащее и гдѣ сказуемое, въ этой 4-й баснѣ? Подлежащее въ этомъ случаѣ есть вопросъ, почему Пугачевъ предпочелъ избранную имъ жизнь мирной жизни обыкновеннаго козака, а сказуемое—отвѣтъ на этотъ вопросъ, т. е. басня, которая является, слѣдовательно, уясненіемъ подлежащаго.

Теперь обратимъ вниманіе на разницу содержанія первыхъ трехъ басенъ. Двѣ изъ нихъ—басня Наана и басня Стезихора—имѣютъ, какъ говорятъ наши источники, назначеніемъ убѣдить, повліять на волю человека, стало быть, имѣютъ значеніе прямо практическое. Можетъ быть, такое же значеніе можно приписать

баснѣ Юоама о деревьяхъ, если думать, что рассказчикъ своею рѣчью желалъ повліять на жителей Сихема. Руководствуясь подобными примѣрами, многіе обобщали ихъ и думали, что басня имѣетъ только практическое значеніе, т. е., что она направлена прямо на дѣйствія и волю.

Но вотъ 4-й примѣръ ясно показываетъ, что она непосредственнаго отношенія къ волѣ можетъ и не имѣть.

Конечно на наши поступки можетъ вліять извѣстный образъ мыслей, но здѣсь въ этомъ послѣднемъ примѣрѣ бросается въ глаза прежде всего то, что съ басней связанъ актъ самосознанія, Человѣкъ отдаетъ себѣ отчетъ въ своей жизни, въ разнообразныхъ подробностяхъ этой жизни, которую онъ, можетъ быть, никогда съ такою цѣльностью не перебиралъ въ умѣ.

На этомъ основаніи можно думать, что басня есть одинъ изъ способовъ познанія житейскихъ отношеній, характера человѣка, однимъ словомъ, всего, что относится къ нравственной сторонѣ жизни людей.

Я не знаю, что сдѣлали Гимерцы, выслушавъ басню Сtezихора. По всей вѣроятности, ничего не сдѣлали: она на нихъ не повліяла; но еслибы они что-нибудь сдѣлали согласно съ нею, то именно потому, что эта басня разъяснила имъ ихъ отношенія къ Фаларису. На основаніи этихъ 4-хъ примѣровъ, мы можемъ сказать, что вообще эта форма состоитъ непремѣнно изъ 2-хъ частей, изъ которыхъ первая — то, что подлежитъ объясненію — словами не высказы-

вается, непосредственно въ басню не входитъ и поэтому при отвлеченіи легко опускается. Эту первую часть можно назвать *подлежащимъ* или *объясняемымъ*. Вторая половина—то, что мы обыкновенно называемъ басней, есть *объясняющее*, до нѣкоторой степени, *сказуемое*. Затѣмъ намъ слѣдуетъ обратить вниманіе на свойство той и другой части, на то, что вытекаетъ изъ ихъ соединенія, о чемъ я еще не упоминалъ.

Что необходимо для того, чтобы извѣстный поэтический образъ могъ быть баснею? Возьмемъ обошедшую весь свѣтъ Эзоповскую басню: О курицѣ и жадной хозяйкѣ.

У одной вдовы была курица, которая каждый день несла по яйцу.—„Попробую я давать птицѣ больше ячменю, авось она будетъ нестись два раза въ день,“ думаетъ хозяйка. Сказано—сдѣлано. Но курица ожирѣла и перестала нестись даже по разу въ день.

Кто изъ жадности гонится за большимъ, — лишается послѣдняго. *)

Что такое составляетъ непремѣнное условіе этой поэтической формы? Въ чемъ именно заключается то, что этотъ поэтический образъ есть басня? Въ чемъ состоитъ особенность басни, т. е. способность ея быть постояннымъ сказуемымъ къ переменчивымъ подлежащимъ, взятымъ изъ области человѣческой жизни?

Такихъ условій нѣсколько, и ихъ удобнѣе всего наблюдать при сопоставленіи басни съ такимъ примѣромъ, который не заключаетъ въ себѣ условій басни, на который

*) Избранныя басни Эзопа, пер. Алексѣева, изд. Сув., 34.

можетъ быть хорошъ въ другихъ отношеніяхъ, напр. съ стихотвореніемъ въ прозѣ Тургенева:

Necessitas—Vis—Libertas. (Барельефъ).

„Высокая, костлявая старуха, съ желѣзнымъ лицомъ и неподвижно-тупымъ взоромъ, идетъ большими шагами, и сухою, какъ палка рукою толкаетъ передъ собой другую женщину.

„Женщина эта огромнаго росту, могучая, дебилая съ мышцами, какъ у Геркулеса, съ крохотной головкой на бычачьей шеѣ—и слѣпая—въ свою очередь, толкаетъ небольшую, худенькую дѣвочку“.

„У одной этой дѣвочки зрячіе глаза; она упирается, оборачивается назадъ, поднимаетъ тонкія, красивыя руки; ея оживленное лицо выражаетъ нетерпѣніе и отвагу.... Она не хочетъ слушаться, она не хочетъ ити, куда ее толкають..... и, все таки, должна повиноваться и ити.“

Я утверждаю, что это не басня. Обратите вниманіе на то, что самъ авторъ назвалъ это барельефомъ; стало быть, онъ самъ думалъ, что это образно, рельефно, и могло бы быть изображено и на картинѣ, въ скульптурѣ — все равно. Но изобразить въ живописи или скульптурѣ можно только одинъ моментъ. Вотъ здѣсь именно граница, отдѣляющая поэзію отъ живописи или скульптуры! Это не значитъ, что поэтическое произведеніе не можетъ изображать одинъ моментъ. И поэтическое произведеніе можетъ остановиться на одномъ моментѣ, и въ такомъ случаѣ поэзія сдѣлаетъ такое дѣло, какое живопись и скульптура могутъ исполнить гораздо лучше, чѣмъ она.

Къ тому же разряду и степени поэтическихъ произведеній принадлежитъ и стихотвореніе въ прозѣ Тургенева: „Два брата“.

„То было видѣніе.....

„Передо мною появилось два ангела.... два генія.... Оба — юноши. Одинъ — нѣсколько полный, гладкокожій, чернокудрый. Глаза каріе, съ поволокой, съ густыми рѣсницами; взглядъ вкрадчивый, веселый и жадный. Лицо прелестное, плѣнительное, чуть-чуть дерзкое, чуть-чуть злое. Алая, пухлявая губы слегка вздрагиваютъ. Юноша улыбается, какъ власть имѣющій — самоувѣренно и лѣнливо; пышный цвѣточный вѣнокъ слегка покоится на блестящихъ волосахъ, почти касаясь бархатныхъ бровей. Пестрая шкурка леопарда, перехваченная золотой стрѣлою, легко повисла съ округлаго плеча на выгнутое бедро. Перья крыльевъ отливаютъ розовымъ цвѣтомъ: концы ихъ ярко красны, точно омочены багряной, свѣжей кровью. Отъ времени до времени они трепещутъ быстро, съ пріятнымъ серебристымъ шумомъ, шумомъ весенняго дождя.

„Другой былъ худъ и желтоватъ тѣломъ. Ребра слабо виднѣлись при каждомъ вдыханіи. Волосы бѣлокурые, жидкіе, прямые; огромные, круглые, блѣдно-сѣрые глаза.... взглядъ безпокойный, и странно-свѣтлый. Всѣ черты лица заостренныя; маленькій, полураскрытый ротъ съ рыбьими зубами; сжатый, орлиный носъ, выдающійся подбородокъ, покрытый бѣловатымъ пухомъ. Эти сухія губы ни разу, никогда не улыбнулись.

„То было правильное, страшное, безжалостное лицо! (Впрочемъ и у перваго, у красавца — лицо, хоть и ми-

лое, и сладкое, жалости не выражало тоже). Вокругъ головы второго зацѣпилось нѣсколько пустыхъ, поломанныхъ колосьевъ, перевитыхъ поблѣклой былинкой. Грубая сѣрая ткань обвивала чресла; крылья за спиною, темно-синія, матоваго цвѣта, двигались тихо и грозно.

„Оба юноши казались неразлучными товарищами. Каждый изъ нихъ опирался на плечо другого. Мягкая ручка перваго лежала, какъ виноградный гроздь, на сухой ключицѣ второго; узкая кисть второго съ длинными, тонкими пальцами протянулась, какъ змѣя, по женоподобной груди перваго. (Здѣсь — одинъ моментъ).

„И послышался мнѣ голосъ. Вотъ, что произнесъ онъ: „Передъ тобой Любовь и Голодъ — два родныхъ брата, двѣ коренныхъ основы всего живущаго.....“.

Не то напр. въ баснѣ „о курицѣ и яйцахъ“. Курица несла яйца, хозяйка стала усиленно кормить ее; вслѣдъ за этимъ курица стала жирѣть, наконецъ со-всѣмъ перестала нести яйца.

Здѣсь мы насчитываемъ 4 момента, слѣдовательно не то, что мы видѣли въ двухъ примѣрахъ изъ Тургенева.

Теперь я скажу такъ: *дерево безъ верха, суховерхое дерево*; будетъ ли это басня? Очевидно — нѣтъ, но не потому, что это само по себѣ бессмысленно. Суховерхое дерево, по народнымъ пѣснямъ, изображаетъ мать послѣ того, какъ она выдала дочь замужъ; слѣдовательно, это образъ знаменательный; это не есть басня не потому, что коротко, а потому, что изображаетъ одинъ моментъ. Другой примѣръ: *капля колеблется на листѣ, и вотъ вотъ готова упасть*.

Изображеніе само по себѣ понятно; очень легко его примѣнить къ разнымъ обстоятельствамъ жизни: къ жизни, которая готова улетѣть, къ человѣку, который хочетъ оставить свой домъ, и т. п.

Очевидно, образъ прекрасенъ, не скажу полонъ значенія, но готовъ принять *иное* значеніе. И тамъ и здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ басней. (Барельефъ Тургенева и два вышеприведенные примѣра имѣютъ между собою существенную разницу, и на нее надо обратить вниманіе. Въ первомъ случаѣ образъ созданъ авторомъ; во второмъ—образы находились въ дѣйствительности, существовали въ мысли, и для поэтической цѣли и примѣненія были вызваны изъ памяти).

Непремѣнное условіе басни составляетъ то, что она заключаетъ въ себѣ дѣйствіе, т. е. рядъ измѣненій.

Разсмотримъ такой случай, гдѣ это условіе соблюдено, а басня, очевидно, дурна. Такова басня Федра о человѣкѣ и мухѣ *). Муха укусила лысаго за обнаженную голову. Тотъ хотѣлъ её убить и нанёсъ себѣ только тяжелый ударъ. Тогда муха, смѣясь, сказала: „ты хотѣлъ смертию наказать маленькое насѣкомое за легкій уколъ; а что ты сдѣлаешь себѣ, если ты къ обидѣ присоедилишь оскорбленіе?“ Онъ отвѣтилъ: „съ собой я легко примирюсь, такъ какъ я не имѣлъ въ виду оскорбленія; но тебя, презрѣннѣйшее животное, которому доставляетъ удовольствіе пить кровь человеческую, я желалъ бы умертвить хотя бы и съ болшею болью“.

*) Calvus et musca, V, 3. Phaedri fabulae Aesopiae.

Этотъ примѣръ учить, что заслуживаетъ прощенія тотъ, кто случайно дѣлаетъ ошибки. Всякій же, вредящій сознательно, по моему мнѣнiю, заслуживаетъ наказанiя. Если обратимъ вниманiе на ея построение, то можемъ замѣтить, что басня могла быть окончена гораздо раньше. Муха укусила человѣка, тотъ ударилъ самого себя; человѣкъ, который желаетъ отомстить врагу, наноситъ себѣ вредъ. Но затѣмъ начинается новая басня: Муха говоритъ: если меня за ничтожный уколъ наказывать смертию, то какъ долженъ ты наказать себя? Такого рода построение называется отсутствiемъ единства дѣйствiя. Писатель, конечно, воленъ это дѣлать, но только каждый разъ, какъ онъ это сдѣлаетъ, цѣльность разсказа нарушается. Мы видѣли, какая цѣль басни: она должна быть постояннымъ сказуемымъ переменчивыхъ подлежащихъ. Какъ же эта басня можетъ служить отвѣтомъ на извѣстный вопросъ, когда она въ себѣ заключаетъ разнообразныя отвѣты? Иногда самъ баснописецъ (а именно это дѣлаетъ Федръ) весьма наивно указываетъ на сложность своихъ басенъ, т. е. ихъ практическую негодность. Другая басня Федра — „Воръ и Свѣтильникъ.“ *)

Воръ зажегъ свѣтильникъ у алтаря Юпитера и, пользуясь священнымъ огнемъ, ограбилъ божество. Когда, совершивъ святотатство, онъ уходилъ изъ храма, вдругъ послышался голосъ божества: дары грѣшниковъ, которые ты укралъ, мнѣ ненавистны, и я не оскорбляюсь, что ихъ похищаютъ; тѣмъ не менѣе

*) Fur et Lucerna, Fabulae Aesopiae Phaedri, IV, 11.

за свою вину ты будешь наказанъ смертью, когда настанетъ predeterminedъ день расплаты. А для того, чтобы мой огонь, посредствомъ котораго благочестивые чтятъ благоговѣнно боговъ, никогда не свѣтилъ преступленіямъ, пусть будетъ запрещено такое употребленіе священнаго огня; чтобы впредь не зажигали свѣтильниковъ отъ священнаго огня и наоборотъ.

Отсюда такое сложное правоученіе, что самъ авторъ долженъ его изложить такъ: во 1-хъ, это часто обозначаетъ, что злѣйшій врагъ нерѣдко тотъ, котораго сами вспоили и воскормили; во 2-хъ, что преступникъ наказывается не въ моментъ гнѣва божества, но въ часъ, назначенный рокомъ; въ 3-хъ эта басня увѣщаетъ добрыхъ, чтобы они ни для какой выгоды не соединялись съ преступникомъ. Примѣненій самъ авторъ нашелъ слишкомъ много, чтобы не авторъ нашелъ хотя бы одно изъ сдѣланныхъ имъ. Эту басню легко разбить на нѣсколько отдѣльныхъ, самостоятельныхъ частей: первая—воръ у священнаго пламени зажегъ свѣтильникъ; другая—дары нечестивыхъ постылы божеству и т. д. Ошибка въ построеніи зависитъ отъ самаго источника. Лессингъ предполагаетъ, что Федръ задался цѣлью объяснить постановленіе, что нельзя зажигать простую свѣчу отъ огня алтаря, и ради этого онъ выдумалъ басню, которая оказалась совершенно негодною. Еще яснѣе, чѣмъ въ этихъ двухъ примѣрахъ, отсутствіе единства дѣйствія въ индійской баснѣ: „Турухтанъ и море.“

На берегу океана жила пара турухтановъ (Strandläufer). Когда пришла пора, самка сказала самцу: „послушай, милый! поищемъ безопаснаго мѣста, гдѣ

мнѣ класть яйца.“ Семецъ отвѣтилъ: „этотъ берегъ океана прелестенъ; по этому клади здѣсь.“ А та сказала: „при полной лунѣ сюда заходитъ морская волна; она уноситъ и свирѣпыхъ царей — слоновъ: по этому поищемъ мѣста подальше.“ Услышавъ это, семецъ улыбнулся и сказалъ: „о милая, ты говоришь пустое; что такое море, чтобъ осмѣлиться обидѣть моихъ дѣтей? „Несись небойся!“ Самка разсмѣялась, зная истинную мѣру его силы, а море, слыша это, подумало, „Поди ты! что за высокомеріе этой птицы! Правду говорятъ: „кто смирить самомнѣніе? Турухтанъ (Strandläufer) спитъ вверхъ ногами, боясь, что на него обрушится небо. „А попытать его силы! Что онъ сдѣлаетъ, когда я унесу его яйца?“ И унесло яйца волною. Самка стала горевать, и сказала мужу: „О безумецъ! не говорила ль я тебѣ, что яйца погибнуть въ приливъ?“ Но семецъ не унываетъ и рѣшается мстить. Сначала онъ думаетъ своимъ клювомъ выносить и высушить море; потомъ сдается на уговоры самки и созываетъ на помощь всѣхъ птицъ. Птицы рѣшаются, что и всѣмъ имъ съ моремъ не совладать, и жалуются на свою обиду своему царю, служителю бога Вишну Гарудѣ — птицѣ. Тогда Гаруда отказывается служить своему богу, пока не будетъ отомщена обида одного изъ его собственныхъ слугъ, турухтана. Вишну грозитъ высушить море, пустивши въ него огненную стрѣлу, и море въ страхѣ отдаетъ яйца турухтану. (Benfey, Panchatantra, II, 87, сл.) *)

*) А. Потебня. Объясненія малорусскихъ и сродныхъ н. п. I, 256. *

Эта басня знаменита, потому что оставила послѣ себя огромное потомство. Здѣсь басня разбивается на двѣ части. Въ первой половинѣ море похищаетъ яйца самки кулика (есть другія басни на тему, что бороться со стихіями невозможно); другая же половина доказываетъ, что слабый можетъ бороться съ сильнымъ и можетъ его побѣждать. Слѣдовательно, двѣ половины басни противорѣчатъ одна другой не по содержанію: море унесло яйца самки кулика, мужъ рѣшается отомстить морю и отомщаетъ — тутъ противорѣчія нѣтъ. Но если обратить вниманіе на возможность примѣненія басни какъ сказуемаго къ переменчивымъ подлежащимъ, о которыхъ я говорилъ, то вы увидите, что характеръ тѣхъ случаевъ, которые подходятъ къ первой половинѣ басни, совершенно противоположенъ характеру тѣхъ, которыя подходятъ ко второй. Къ первой половинѣ подходятъ тѣ случаи, которые доказываютъ, что бороться съ стихійными силами невозможно; ко второй половинѣ будутъ подходить тѣ случаи, когда личность, не смотря на свою видимую слабость, борется и одерживаетъ надъ ними побѣду. Слѣдовательно, внутри нашей басни содержится логическій порокъ. Единства дѣйствія, которое мы видимъ въ другихъ примѣрахъ, она не имѣетъ.

Лекція 2-я.

Прошлый разъ я старался показать, что басня, какъ конкретное явленіе мысли, а не отвлеченіе, состоитъ изъ двухъ частей: *одной* — именно частнаго случая, къ которому она примѣняется, который не входитъ въ составъ басни въ ея отвлеченномъ видѣ, словами не выражается, и другой, которая составляетъ то, что обыкновенно называется басней. Эту послѣднюю можно назвать *образомъ* въ обширномъ смыслѣ слова.

Къ свойствамъ этого образа слѣдуетъ отнести *во-первыхъ* то, что онъ долженъ состоять изъ ряда дѣйствій и что поэтому такіа произведенія, какъ приведенное мною въ прошлый разъ стихотвореніе Тургенева, „Два брата“, не можетъ быть названо басней, такъ какъ въ немъ нѣтъ *дѣйствія*. Это объяснено мною не-
вполнѣ ясно, и я повторю это объясненіе.

Басня, судя по сотнямъ примѣровъ, есть отвѣтъ на весьма сложные случаи, представляемые жизнью, т. е. такіе, которые, будучи разложены, представляютъ одно или нѣсколько дѣйствующихъ лицъ, одно или нѣсколько дѣйствій.

Между тѣмъ такіа произведенія, какъ указанное мною выше, назовемъ его эмблемой — что ли, могутъ

служить изображеніемъ лица, или лицъ, но не совокупности дѣйствій. Два брата въ стихотвореніи Тургенева „Голодь и Любовь“ ничего не *дѣлаютъ*. Такимъ образомъ, повторяю, эмблема можетъ соотвѣтствовать только субъектамъ объясняемаго случая.

Здѣсь между прочимъ можно указать границу между поэзіей и изобразительными искусствами, границу, которая ясно указана теоретически Лессингомъ: изобразительныя искусства, скульптура и живопись, держатся въ предѣлахъ эмблемы, т. е. изображенія субъекта, о дѣйстви котораго оно заставляетъ только догадываться. Только одна поэзія можетъ изображать дѣйствія.

Второе свойство образа: дѣйствіе, его составляющее, должно представлять извѣстное единство. Прошлый разъ я указалъ на примѣры отсутствія такого единства въ трехъ басняхъ.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ о происхожденіи басни, т. е., чѣмъ она была, прежде чѣмъ явилась въ томъ видѣ, какъ мы ее встрѣчаемъ у древнихъ, мы видимъ, что у Грековъ, Евреевъ, отчасти у другихъ народовъ басня служитъ быстрымъ отвѣтомъ на вопросъ, предъявляемый намъ извѣстнымъ сцѣпленіемъ явленій, извѣстными событіями, т. е. что басня является сказуемымъ такого подлежащаго. Если бы дѣйствующія лица басни привлекали къ себѣ наше вниманіе и возбуждали бы наше сочувствіе или неудовольствіе въ той степени, въ какой это имѣетъ мѣсто въ обширномъ произведеніи: въ повѣсти, романѣ, эпической поэмѣ; то

басня перестала бы достигать своей цѣли, перестала бы быть сама собой, т. е. быстрымъ отвѣтомъ на предложенный вопросъ. Для того чтобы обширное поэтическое произведеніе стало такимъ отвѣтомъ, нужно, чтобы оно отодвинулось отъ насъ, какъ бы вдаль, чтобы его размѣры въ нашихъ глазахъ, уменьшились, подробности исчезли и остались лишь легко уловимыя общія очертанія.

Возьмемъ, напр. обширную, общеизвѣстную поэму „Иліаду“, или не самую поэму, а тотъ кругъ событій, который не весь вошелъ въ нее: Парисъ, сынъ Троянскаго царя Пріама, похищаетъ Елену, жену одного изъ греческихъ царей Менелая. Менелай и Агамемнонь, его братъ, чтобы отомстить имъ, ведутъ Грековъ противъ Трои; тамъ гибнутъ Патроклъ, Ахиллъ, пропадаетъ много Грековъ отъ оружія и заразы; наконецъ гибнетъ сама Троя. Въ такомъ видѣ рассказанный рядъ событій можетъ служить темой для басни, т. е. понимая ее въ обширномъ смыслѣ, отвѣтомъ на тему, которая выражается Латинской пословицей: „*delirant reges, plectuntur Achaei*“ т. е. „сумасбродствуютъ цари, а наказываются Ахейцы“, или малорус.: „паны скубуться, а у мужиківъ чубы тріщать“.

Но придайте этому ряду событій тѣ подробности, ради которыхъ эти событія привлекательны въ самой поэмѣ, наше вниманіе будетъ задерживаться на каждомъ шагу мелочными подробностями и другими требующими объясненія образами — и басня становится невозможною.

Пользоваться такимъ сложнымъ поэтическимъ произведеніемъ (повѣстью, романомъ) такъ, какъ мы пользуемся пословицей и басней, т. е. для быстрого мгновеннаго объясненія даннаго случая — невозможно; пользоваться ими конечно можно и должно; но такое пользование, очевидно, предполагаетъ другія условія, исключительно свойственныя этимъ обширнымъ произведеніямъ и отличающія ихъ отъ пословицы и басни.

Въ связи съ сказаннымъ находится слѣдующее правило: басня, ради годности ея для употребленія, не должна останавливаться на характеристикѣ дѣйствующихъ лицъ, на подробномъ изображеніи дѣйствій, сценъ.

Въ этомъ отношеніи существуетъ двѣ школы. Одна, извѣстная намъ съ дѣтства, — школа Лафонтена и его подражателей, къ которымъ принадлежитъ и Крыловъ. Она можетъ быть охарактеризована басней „Осель и Соловей“.

Осель увидѣлъ соловья,
И говоритъ ему: „послушай-ка, дружище
Ты, сказываютъ, пѣть великій мастерище:
Хотѣлъ бы очень я
Самъ посудить, твое услышавъ пѣнье,
Велико ль подлинно твое умѣнье?
Тутъ соловей являть свое искусство сталъ:
Защелкалъ, засвисталъ,
На тысячу ладовъ тянулъ, переливался;
То нѣжно онъ ослабѣвалъ,
И томной вдалекъ свирѣлью отдавался;
То мелкой дробью вдругъ по рошѣ разсыпался

Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры:
Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался
И только иногда,
Внимая соловью, пастушкѣ улыбался.
Скончалъ пѣвецъ. Осель, уставясь въ землю лбомъ,
„Изрядно, говорить: сказать не ложно,
Тебя безъ скуки слушать можно;
А жаль, что не знакомъ
Ты съ нашимъ пѣтухомъ:
Еще бъ ты болѣ наострился,
Когда бы у него немножко поучился“.
Услыша судъ такой, мой бѣдный соловей
Вспорхнулъ—и полетѣлъ за тридевять полей.
Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судьей.

Многіе, т. е. все предшествующее поколѣніе, у насъ и отчасти у нѣмцевъ, за нѣкоторыми исключеніями, находили такой способъ изложенія, т. е. введеніе такихъ подробностей и живописныхъ описаній въ баснѣ, очень умѣстнымъ и поэтичнымъ.

Но еще въ концѣ прошлаго вѣка, въ 1795 г. написана была статья извѣстнымъ нѣмецкимъ мыслителемъ и отчасти поэтомъ, Лессингомъ „О баснѣ“, основанная на изученіи древней басни, который настаиваетъ на практическомъ примѣненіи ея, и, какъ мнѣ кажется, совершенно убѣдительно доказываетъ, что всѣ прикрасы, которыя введены Лафонтеномъ, произошли именно

оттого, что люди не хотѣли, не умѣли пользоваться басней. И въ самомъ дѣлѣ—басня, бывшая нѣкогда могущественнымъ политическимъ памфлетомъ, во всякомъ случаѣ сильнымъ публицистическимъ орудіемъ, и которая, несмотря на свою цѣль, благодаря даже своей цѣли, оставалась вполнѣ поэтическимъ произведеніемъ; басня, которая играла такую видную роль въ мысли, сведена на ничто, на негодную игрушку.

Другой взглядъ руководилъ греческимъ баснописцемъ, полумифическимъ, недостаточно опредѣленнымъ исторически—Эзопомъ. Отъ него не осталось ни одной басни, о которой можно достовѣрно сказать, что она имъ самимъ написана; но многія лица пересказывали эти басни, и всѣ эти пересказы крайне просты и кратки.

Латинскіе баснописцы, изъ которыхъ первый Федръ, уклонились отъ этой простоты, но не въ пользу самаго дѣла. *Третье свойство* образа басни, вытекающее изъ ея назначенія, это то, что она, чтобы не останавливаться долго на характеристикѣ лицъ, беретъ такія лица, которыя однимъ своимъ названіемъ достаточно опредѣляются для слушателя, служатъ готовымъ понятіемъ. Какъ извѣстно въ баснѣ пользуются для этого животными. Какимъ образомъ возникло это, отчего вмѣсто хитраго человѣка берутъ лисицу, вмѣсто жаднаго—волка, вмѣсто упрямаго и отчасти глупаго—осла, говорить объ этомъ я не буду. Это вопросъ слишкомъ обширный. Я скажу только, что практическая польза для басни, отъ соблюденія такого обычая, можетъ быть сравнена съ тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ

играхъ, напр. въ шахматахъ, каждая фигура имѣетъ опредѣленный ходъ дѣйствій: конь ходитъ такъ-то, король и королева такъ-то; это знаетъ всякій приступающій къ игрѣ, и это очень важно, что всякій это знаетъ, потому что въ противномъ случаѣ приходилось бы каждый разъ условливаться въ этомъ, и до самой игры дѣло бы не дошло.

Для цѣлей басни важно, чтобы развитіе дѣйствія продолжалось въ ней только до тѣхъ поръ, пока это нужно для примѣненія ея къ частному случаю. Возьмемъ для примѣра басню изъ Бабрія, приписываемую Эзопу. „*Старикъ и Смерть*.“

„Нарубилъ однажды Старикъ въ лѣсу вязанку дровъ и взвалилъ ее на плечи. Тяжела-была ноша. Долго шель онъ, выбился изъ силъ, бросилъ дрова и сталъ звать Смерть. Быстро предстала предъ нимъ Смерть и спрашиваетъ: „Зачѣмъ ты зовешь меня?“ — „Чтобы ты взвалила мнѣ на плечи мою вязанку“, говоритъ Старикъ.“

Каждый человѣкъ любитъ жизнь. Ему грозятъ тысячи опасностей, онъ хочетъ покончить съ собою, но жизнь ему милѣе смерти. *)

Вотъ конецъ басни, но рядъ дѣйствій, въ ней изображаемый, нисколько не оканчивается. Мы можемъ спросить, что сдѣлала смерть, исполнила ли его просьбу, или унесла его съ собою? Точно такимъ же примѣромъ можетъ служить та индійская басня, на кото-

*) По переводу Алексѣева, Избранныя басни, Эзоп, изд. Суворина.

рую я указаль въ прошлый разъ. Баснописецъ поступилъ по своему совершенно правильно, что продолжилъ это дѣйствіе до конца; но мы получили сочиненіе, можетъ быть и хорошее, но слишкомъ сложное для того, чтобы быть удобной басней.

Четвертое свойство образа басни — то, что можно назвать конкретностью или единичностью дѣйствія. Я не знаю, въ состояніи ли я буду достаточно объяснить вамъ этотъ вопросъ. Онъ представляетъ нѣкоторое затрудненіе, потому что здѣсь мы выходимъ изъ области разсматриваемаго, т. е. изъ области поэзіи и сталкиваемся съ тѣми произведеніями, которыя называются прозою; о нихъ рѣчь впереди.

Вспомните басню Наавана. Обратите вниманіе на то свойство, о которомъ я говорю: Нааванъ говорить: „*одинъ человекъ*“. Почему онъ не могъ сказать „*нѣкоторые люди*“, или „*все люди*“? Если онъ дѣйствительно не могъ этого сказать, по самому свойству басни, то этимъ будетъ доказано, что образъ басни долженъ быть единичнымъ.

Если бы Нааванъ пришелъ къ Давиду, зная, что онъ сдѣлалъ и сказалъ ему: „*все богатые люди, вмѣсто того, чтобы убивать своихъ овецъ для гостей, отымаютъ послѣднюю овцу у бѣдняка*“, Давидъ сказалъ бы: „*Это неправда, и я не знаю, зачѣмъ ты занимаешь мое вниманіе такою ложью*“. т. е. другими словами, есть много единичныхъ утвержденій, которыя не могутъ быть обобщены такъ просто, потому что тогда они становятся очевидною ложью, нелѣпостью. Но

Нааанъ могъ сказать такъ: „нѣкоторые богатые, вмѣсто того, чтобы закалывать своихъ овецъ, берутъ послѣднюю овцу у бѣднаго.“

Тогда Давидъ могъ бы сказать: „Да, къ сожалѣнію есть такіе, но что подѣлаешь съ этимъ? И съ какой стати ты говоришь мнѣ объ этомъ!“

Нааанъ отвѣтилъ бы: „ты одинъ изъ такихъ людей!“ На что Давидъ сказалъ бы: „Докажи, поясни мнѣ это примѣромъ, я этого не понимаю“. Такимъ образомъ басня, которая по словамъ Св. Писанія подѣйствовала поразительнымъ образомъ, превратилась бы въ разговоръ, въ споръ, и практической цѣли бы не имѣла. Но есть утвержденія единичныя, или иначе сказать, изображенія единичныхъ дѣйствій, которыя могутъ быть изъ единичныхъ обращены въ общія, не становясь при этомъ нелѣпостью. Я возьму такой примѣръ, который могъ бы превращаться въ басню: говорятъ, что всякій страусъ, когда его преслѣдуетъ охотникъ, прячетъ свою голову и воображаетъ, что избавляется отъ опасности; или басню, которая приписывается Эзопу (она стоитъ въ числѣ басенъ, хотя на самомъ дѣлѣ — не басня). Она состоитъ въ слѣдующемъ: Говорятъ обезьяны рождаютъ по два дѣтеныша. Одного изъ нихъ мать любить и лелѣетъ, а другого ненавидитъ. Перваго она удушаетъ своими объятіями, такъ что доживаетъ до зрѣлаго возраста только нелюбимый. *) Это — общія положенія; о нихъ можно сказать, что они естественно-историческія, научныя положенія, а по своей формѣ прозаическія.

*) Лессингъ, Fab. Aesop.

Здѣсь надо замѣтить, что у насъ обыкновенно злоупотребляютъ словомъ „научное“, считая этотъ эпитетъ тождественнымъ съ названіемъ *истинное, вѣрное*.

Такое употребленіе его есть очевидно заблужденіе; оно связано съ тѣмъ ребяческимъ взглядомъ, что наука началась съ послѣдней прочитанной книжки. Наука началась тамъ, гдѣ начался анализъ явленій; а такъ какъ, когда начался анализъ явленій, никто сказать не можетъ, то, очевидно, нельзя сказать, когда началась наука. Что же касается до критерія, до мѣрки истинности или неистинности, то вѣдь истинно то, что согласуется съ совокупностью доступныхъ нашему наблюденію данныхъ; т. е. истина существуетъ не въ воздухѣ, а для извѣстнаго лица. Я говорю это къ тому, чтобы оправдать названіе этихъ положеній научными, они могутъ быть съ точки зрѣнія современныхъ природоиспытателей устарѣлыми, но тѣмъ не менѣе по своей всеобщности, эти положенія научны.

Почему такого рода научныя, прозаическія положенія неудобны для такихъ образовъ, какіе мы встрѣчаемъ въ баснѣ? Что они неудобны, это есть истина, выведенная изъ наблюденій. Нѣтъ ни одной хорошей басни, т. е. сильно дѣйствующей и часто употребляемой, которая заключала бы такія обобщенія.

Между древними баснями есть такія, какъ только что приведенная про обезьяну; но онѣ считаются неудовлетворительными. Лессингъ полагаетъ, что для того, чтобы превратить этотъ естественно-историческій рассказъ про обезьяну въ басню, нужно сообщить дѣй-

ствіямъ, излагаемымъ въ ней, единичность. представить это, какъ отдѣльный случай, т. е. примѣрно сказать такъ: одна обезьяна родила двухъ дѣтенышей, одного изъ нихъ любила и т. д. Свойство научнаго обобщенія то, что ведетъ мысль къ частностямъ въ немъ заключеннымъ, но не къ частностямъ другого круга. Напримѣръ, изъ этого разсказа про обезьяну слѣдуетъ непосредственно для меня то, что сказанное вообще про обезьяну должно быть сказано о каждой изъ нихъ порознь. Нѣтъ никакого импульса, толчка мысли, чтобы перейти отъ обезьяны къ чему-нибудь другому. А намъ въ баснѣ именно это самое и нужно.

Поэтому въ силу изложеннаго, для установленія связи такихъ обобщеній, какъ напр: страусъ прячетъ голову и воображаетъ, что скрылся отъ опасности, — и явленій другого порядка, напр. въ данномъ случаѣ того, что есть люди, которые бываютъ въ подобныхъ условіяхъ, — нужно большее усиліе мысли, чѣмъ для установленія связи между единичными явленіями, которыя, при правильномъ обобщеніи, были бы, разнесены по различнымъ разрядамъ.

Вмѣстѣ съ этимъ увеличеніемъ усилія мысли уменьшается способность объясненія общимъ (одного порядка) частнаго (другого порядка). Я боюсь, что запутанно выразился. Я хочу сказать, что если отъ обобщенія одного круга, напр., что *всякая обезьяна рождаетъ по два дѣтеныша* и т. д., если отъ этого обобщенія трудно перейти къ частнымъ случаямъ другого круга, (напр., къ явленіямъ человѣческаго воспитанія: *нерѣдко мать*

излишними ласками портитъ и убиваетъ своихъ дѣтей); то и объяснительная сила басни такого характера, какъ приведенная выше, мала. Отсюда мы видимъ, что если принять общее за объясненіе для инороднаго частнаго, то приходится большею частью подробно и обстоятельно называть это частное. Я приведу примѣръ другого рода. „Гора стонетъ, гора мучается родами, все вокругъ ожидаетъ конца ихъ. Наконецъ она родила мышъ. (басня Эзопа).

Нужно ли называть отдѣльные случаи, которые могутъ быть примѣнены къ этому? Практика показываетъ, что такіе случаи мы находимъ сами всегда.

Между тѣмъ, если образы въ баснѣ становятся обобщеніями, вродѣ приведеннаго выше, то, большею частью, является необходимостью для писателя указаніе случаевъ, которые онъ думаетъ объяснить этими инородными объясненіями. Возьмемъ примѣръ изъ „Богословія“ Іоанна Дамаскина *). Въ концѣ этой книги говорится о воскресеніи мертвыхъ. Учителю требуется доказать воскресеніе мертвыхъ. Онъ говоритъ: „Ласточка, когда придетъ зима, сбрасываетъ съ себя перья и залѣзаетъ за кору дерева, а потомъ весной опять покрывается перьями, вылетаетъ на свѣтъ, щебечетъ и какъ будто говоритъ человѣку: „убѣдись отъ меня въ воскресеніи мертвыхъ“. Поучаетъ и шелковичный червь, который покрываетъ себя нитью, умираетъ на зиму, а весной опять рождается въ такомъ же видѣ. (Очевид-

*) Славянскій переводъ Іоанна Экзарха болгарскаго, Калайд. 137 стр.

но онъ думалъ, что изъ кокона выходитъ червь....). Еще посмотрите на зерна житныя и сочивныя (колосовыхъ хлѣбовъ и бобовыхъ), какъ они въ землѣ гибнутъ, чтобы принести плодъ.

Всѣ эти три примѣра, всѣ эти естественно-историческія обобщенія выражены въ формѣ неполнѣ поэтической, — можно скорѣе сказать, прозаической; но вмѣстѣ съ тѣмъ не соотвѣтствуютъ тѣмъ приемамъ мысли, которые прилагаются нами съ давнихъ поръ для научныхъ объясненій природы и человѣческой жизни.

Такую форму древніе Греки называли *параболой*, т. е. сравненіемъ (слово Латинское, отъ котораго французское *parole*).

По славянски это можно назвать (по крайней мѣрѣ такъ называлось въ древности) *притчей*; хотя впрочемъ слово притча употребляется въ болѣе обширномъ смыслѣ и обнимаетъ нашу басню.

Въ приведенномъ мною примѣрѣ общее объясняющее представлено постояннымъ повторяющимся явленіемъ, т. е. *всеобщимъ* (каждый разъ, какъ наступаетъ зима, каждая ласточка и т. д.). Однако возможенъ случай, когда такой всеобщности нѣтъ, когда дѣйствіе изображается *возможнымъ*, а не необходимо повторяющимся каждый разъ. Но возможность есть всетаки видъ всеобщности. Въ риторикѣ Аристотеля приведенъ, какъ примѣръ притчи, слѣдующій: „назначать правителемъ лица по жребію, (въ Аѣинахъ назначались на нѣкоторыя должности по жребію), все равно, *какъ если бы* владѣлецъ корабля, нуждаясь въ кормчемъ, вмѣсто

того, чтобы выбрать лучшего изъ служащихъ на корабль, взявъ бы того, на кого упадетъ жребій.

Возможно назначеніе капитаномъ корабля или кормчимъ наиболѣе опытнаго изъ служащихъ на корабль; но, рядомъ съ этимъ, представляется возможность назначенія кормчимъ не наиболѣе достойнаго, не избраннаго, а менѣе способнаго, опредѣленнаго по жребію. Поэтому объяснительная сила возможнаго меньше силы дѣйствительнаго *).

. Я чувствую, что этотъ вопросъ, (т. е., почему именно образъ басни долженъ изображать единичное дѣйствіе) недостаточно мною разъясненъ, между тѣмъ важность его чрезвычайна, потому что именно здѣсь, т. е. въ единичности, конкретности образа, заключается разница между поэзіей, къ которой принадлежитъ басня, и общей формой научной мысли—прозой. Можетъ быть я возвращусь къ этому еще разъ, теперь укажу на существенныя черты отношенія образа басни къ объясняемому. Я уже привелъ опредѣленіе, что поэтический образъ въ баснѣ (и не въ одной только баснѣ, а вообще поэтический образъ) есть постоянное сказуемое къ переменчивымъ подлежащимъ, постоянное объясненіе къ измѣнчивому объясняемому. Насколько это можетъ быть общимъ свойствомъ поэзіи—оставимъ въ сторонѣ, но на баснѣ это выясняется превосходно. Какимъ образомъ живетъ басня? Чѣмъ объясняется то, что она живетъ тысячелѣтія?

*) *Притча* (παραβολή) можетъ превращаться въ *басню*, въ коей событіе изображено, какъ единичное и какъ дѣйствіе. Р.

Это объясняется тѣмъ, что она постоянно находится новыя и новыя примѣненія. Обратите вниманіе на нѣкоторыя общеизвѣстныя басни, напр: Лягушки въ болотѣ нашли, что въ ихъ государствѣ недостаточно законности. Чтобы исправить это, онѣ обратились къ Зевсу и стали просить у него царя. Зевсъ улыбнулся и сбросилъ съ неба деревянную колоду. Она упала съ плескомъ въ болото. Лягушки были сначала въ ужасѣ, но затѣмъ, нѣкоторыя изъ нихъ, подплывши къ бревну, осмѣлились на него вскарабкаться, отчего остальные нашли, что власть ихъ государя не внушаетъ достаточно уваженія. Опять отправили депутацию къ Зевсу, и онъ послалъ имъ водяную змѣю. (или ужа.)

Федръ, который пересказываетъ эту греческую басню, говоритъ, что будто бы она была сказана по поводу того, что борьба партій въ Аѣинахъ выдвинула Пизистрата и его тираннію *) Такъ ли это было или нѣтъ, и откуда могъ знать Федръ, что эта басня была сказана именно по этому случаю, оставимъ въ сторонѣ; несомнѣнно только одно, что эта басня, по своему происхожденію, политическая, какъ и многія другія греческія басни, что она можетъ быть тысячи разъ примѣнялась греками и римлянами и новыми поэтами къ политическимъ событіямъ; но можетъ быть примѣнена и къ неполитическимъ. Или вотъ другая басня Федра, по общему признанію, неизвѣстная въ греческихъ источникахъ: „Старикъ пасъ осла, услышалъ

*) *Fabulae Aesopiae, Phaedrus, I, 2.*

шумъ и звукъ оружія и сталъ торопить осла: „уйдемъ отъ непріятеля.“ „Зачѣмъ“? спросилъ осель, „развѣ они положить на мою спину больше одного сѣдла?“ — „Нѣтъ“. — „Такъ нечего бѣжать.“ — *) — Вотъ опять басня преимущественно политическаго примѣненія. Кто въ состояніи анализировать явленія патріотизма и преданности существующему правительству и т. д., для того конечно, эта басня не нужна. Но для кого эти вопросы неясны, смутны, темны; для кого они существуютъ въ видѣ вопросовъ неопредѣленныхъ, невыясненныхъ, для того она, во время услышанная, проливаетъ новый свѣтъ. Такова и другая басня: „Арабъ выучить верблюда и спрашиваетъ его: какъ ему лучше ити въ гору, или подъ — гору? — „Развѣ“, говоритъ верблюдъ, „все пути по ровному уже заказаны?“ **)

Вѣчность басни вытекаетъ именно изъ того, что составныя части ея образовъ настолько освобождены отъ всякой случайности и настолько связаны между собою, что съ трудомъ поддаются измѣненіямъ. Далѣе, вѣчность ихъ вытекаетъ изъ того, что эти сплоченные образы способны, по первому требованію, стать общей схемой спутанныхъ явленій жизни и служить ихъ объясненіемъ. Вѣчность басни имѣетъ свои предѣлы, которые теоретически установить трудно, потому что, если одно изъ дѣйствующихъ лицъ становится непонятнымъ, вслѣдствіе того, что въ самой жизни исчезаетъ соотвѣтственное явленіе, если, можетъ быть, вслѣд-

*) *Fabulae Aesopiae, Phaedr. I, 15.*

**) *Babrius, 8, Ribbeck, Die Fabeln von Babrius.*

ствіе этого само дѣйствіе въ ней становится неяснымъ, то является возможность подстановки, перемѣны этого лица. Напр. греческая басня: „Погонщикъ быковъ и Гераклъ.“ *)

Погонщикъ быковъ ѣхалъ изъ деревни въ телегѣ. Вдругъ она завязла въ рытвинѣ. Вмѣсто того, чтобы помочь бѣдѣ, лѣнтяй стоялъ, почесывая затылокъ, и началъ звать Геракла, котораго чтить болѣе другихъ боговъ. Предсталъ предъ нимъ герой и говоритъ: — „Подними-ка колеса да стегни быковъ — потрудишься прежде самъ, а потомъ зови боговъ, иначе они не примутъ твоей молитвы.“

У славянъ эта басня существуетъ въ такомъ видѣ: Утопалъ человекъ и обратился къ покровителю мореплавателей св. Николаю, съ просьбой о помощи; а св. Николай говоритъ: „ты небоже, рукой махни, махни.“ Такимъ образомъ басни, въ которыхъ дѣйствующія лица непонятны, могутъ не погибнуть, потому что лица и дѣйствія могутъ подмѣниваться.

Я уже сказалъ, что образъ, заключенный въ баснѣ, по отношенію къ объясняемому, есть нѣчто гораздо болѣе простое и ясное, чѣмъ это объясняемое, и это именно—основаніе практическаго значенія басни. Напримѣръ, такое сравнительно сложное явленіе: люди разныхъ сословій и занятій, полагаютъ, что они именно одни суть столбы, на которыхъ держится общественное зданіе, и что на нихъ падаетъ наибольшая доля работы; между тѣмъ, какъ работа, достаемаяся

*) Избранныя басни Эзопа, перев. Алексѣева, 78. изд. Сув.

на долю другихъ, по ихъ мнѣнію, слишкомъ ничтожна и легка. Тотъ же самый споръ переносится въ область семейную; есть даже особенный рядъ рассказовъ о томъ какъ мужъ и жена спорятъ, чья работа легче, и жена доказываетъ мужу, что она его работу: пахать, косить—исполнять можетъ, а если заставить его смотрѣть за дѣтьми, кормить цыплятъ, то онъ окажется несостоятельнымъ. Всѣ подобные вопросы могутъ подлежать научному изслѣдованію, но пока то еще прійдетъ эта наука, да ко многимъ она и вовсе никогда не приходитъ, а быстрое, хотя и одностороннее рѣшеніе этихъ вопросовъ дается басней. Извѣстна басня принадлежащая къ разряду многочисленныхъ сербскихъ и малороссійскихъ рассказовъ о цыганахъ, геніально характеризующихъ это племя и имѣющихъ такую художественную законченность, что могутъ служить баснями. Басня эта состоитъ въ слѣдующемъ; „Мужикові що?“ казав циган: „ори, мели, іж!“ „А мені бити, кувати, варгани *) робити, на базарь носити, та продавати, та дітей годувати!“ — и, какъ образъ, есть гораздо болѣе простое и ясное, чѣмъ объясняемое.

Затѣмъ мнѣ остается сказать еще объ одной составной части басни, о которой я не упоминалъ, именно: о правоученіи. Мы видѣли до сихъ поръ, что басня безъ правоученія обходится вполне; но тѣмъ не менѣе не лишенъ интереса вопросъ объ отношеніи басни къ тому, что называется правоученіемъ.

*) *Варганъ*—маленькій желѣзный музыкальный инструментъ. Отсюда *варганить*—дѣлать пустячную работу,—дѣлать плохо.

Лекція 3-я.

На баснѣ я желалъ бы показать различіе основныхъ формъ человѣческой мысли, поэзіи и прозы, а вмѣстѣ съ тѣмъ указать и то, что это не какія-нибудь временныя формы мысли, отъ которыхъ человѣчество можетъ отдѣлаться съ развитіемъ, а формы постоянныя, находящіяся въ извѣстномъ взаимодействіи. Это положеніе довольно трудное, и уясненіе его дѣлается не сразу, какъ можно видѣть изъ существованія теоріи, которая отводитъ поэзіи совершенно второстепенное мѣсто. Различіе этихъ формъ человѣческой мысли можетъ имѣть нѣкоторое практическое значеніе, потому что разъ мы дойдемъ до заключенія, что такія формы дѣйствительно существуютъ, можетъ произойти нѣкоторое измѣненіе и въ самомъ пользованіи ими.

Два дѣла разные—относимся ли мы къ извѣстнымъ органамъ нашего тѣла, напр. глазамъ, сознательно, или пользуемся ими потому, что ихъ дала намъ природа. Съ поэзіей и прозой тоже, что съ глазами: мы пользуемся этими формами совершенно безсознательно; мы замѣчаемъ ихъ различіе тогда, когда извѣстная личность чувствуетъ въ себѣ способность къ той или другой формѣ по преимуществу.

До сихъ поръ я рассматривалъ два элемента басни; между тѣмъ какъ существуетъ еще и третій. Если мы, разговаривая на понятномъ языкѣ, указываемъ другому вещь и говоримъ: *это столъ*, то наше слово не требуетъ дальнѣйшаго поясненія, и не можетъ быть вопроса: что значить это слово?

Этотъ вопросъ возможенъ въ этимологическомъ смыслѣ. Но это—другое дѣло. Точно также, когда басня рассказывается по поводу извѣстнаго случая, то, если она хороша, никто не спроситъ: зачѣмъ она и что значить? Разъ возникаетъ такой вопросъ, она сама по себѣ нехороша.

Допустимъ такой случай: мужъ и жена замечтались о томъ, что они сдѣлаютъ, когда выиграютъ въ лотерею двѣсти тысячъ? Но такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ каждый слѣдуетъ своему характеру и вкусамъ, то они заспорили, наговорили другъ другу колкостей.—Тутъ вспомнились имъ мечты цыгана, который говоритъ: „я накую варгановъ, пойду на базаръ, куплю телку, изъ нея вырастетъ корова, у нея будетъ теленокъ, мы будемъ пить молоко“. А цыганенокъ говоритъ: „а я буду на теленкѣ ѣздить“. Цыганъ ударилъ его: „не ѣзди, спинку переломишь!“.

Мужъ и жена вспомнили это, разсмѣялись и споръ прекратился.

Никто не будетъ спрашивать: почему имъ это вспомнилось? Тутъ дѣйствіе осязаемо и практически важно. Но если образъ (въ широкомъ смыслѣ, сѣпленіе образовъ) оторванъ отъ своего примѣненія, и если

въ этомъ отвлеченномъ видѣ онъ ходитъ по людямъ, какъ готовое сказуемое неизвѣстныхъ подлежащихъ; затѣмъ, если, какъ это всегда бываетъ при накопленіи подобныхъ образовъ, являются ихъ собиратели, хранители, такъ сказать, продавцы подобнаго товара: то возникаетъ стремленіе пояснить, на что товаръ нуженъ. Такое поясненіе можетъ произойти троякимъ образомъ: 1) или разсказомъ, заключеннымъ въ баснѣ, поясняется другой разсказъ столь же частный, 2) или разсказомъ басни поясняется извѣстное общее положеніе, на которое указываетъ этотъ разсказъ, 3) или, наконецъ, баснописецъ прибѣгаетъ къ тому и другому способу вмѣстѣ. Такимъ образомъ является какъ бы тройственное дѣленіе басни.

Общее положеніе, которое выясняется басней, иногда скрывается за выводомъ изъ этого общаго положенія, который есть то, что называется нравоученіемъ, какъ напримѣръ, въ баснѣ про собаку, которая бѣжала съ кускомъ мяса черезъ мостикъ, увидѣла въ водѣ другую собаку съ мясомъ, вздумала отнять это мясо и уронила свое. Тутъ обобщеніе является въ видѣ такого совѣта или нравоученія: если ты погонишься за чужимъ, то потеряешь свое *).

Я укажу на басню, въ началѣ которой имѣется обобщеніе или нравоученіе, а въ концѣ приводится другой случай въ поясненіе къ первому. Такова Езоповская басня, пересказанная Крыловымъ — „о Павѣ и Воронѣ“.

*) *Fabulae Aesopiae Phaedri*, I, 4.

„Когда не хочешь быть смѣшонъ,
Держися званія, въ которомъ ты рожденъ.
Простолюдинъ со знатю не роднися;
И если карлой сотворенъ,
То въ великаны не тянися,
А помни свой ты чаще ростъ.

Утыкавши себѣ павлиннымъ перьемъ хвостъ,
Ворона съ павами пошла гулять спесиво,
И думаетъ, что на нее
Родня и прежніе пріятели ея
Всѣ заглядятся, какъ на диво;
Что павамъ всѣмъ она сестра,
И что пришла ея пора
Быть украшеніемъ Юнонина двора.
Какой-же вышелъ плодъ ея высокомѣрья?
Что павами она ощирана кругомъ,
И, что бѣжавъ отъ нихъ, едва не кувыркомъ,
Не говоря ужъ о чужомъ,
На ней и своего осталось мало перья.
Она было назадъ къ своимъ: но тѣ совсѣмъ
Заклеванной Вороны не узнали,
Ворону вѣдѣсталь ощипали,
И кончились ея затѣи тѣмъ,
Что отъ воронъ она отстала,
А къ павамъ не пристала.

Я эту басенку вамъ былью поясню.
Матренѣ, дочери купецкой, мысль припала,

Чтобъ въ знатную войти родню.
Приданого за ней пол-милліона.
Вотъ выдали Матрену за Барона.
Что-жъ вышло? Новая родня ей колетъ глазъ
Попрекомъ, что она мѣщанкой родилась,
А старая за то, что къ знатымъ приплелась:
И сдѣлалась моя Матрена
Ни пава, ни ворона.

Первая часть этой басни — нравоученіе, вытекающее изъ общаго положенія, затѣмъ рассказъ про ворону и въ концѣ рассказъ о другомъ случаѣ, поясняющемъ первый.

Я рассмотрю прежде всего тотъ случай, когда рассказъ, заключающійся въ баснѣ, поясняется другимъ рассказомъ: это-двойная или составная басня.

Если частный случай, который назовемъ *А* и по поводу котораго создана или примѣнена басня *В*, если этотъ частный случай будетъ изложенъ такъ, что и самъ по себѣ могъ бы годиться для примѣненія, и если онъ будетъ присоединенъ къ *В*; то получится поэтическая форма, которую Лессингъ называлъ составной басней (*zusammengesetzte fabel*), какъ напирѣмъ, одна изъ Эзоповскихъ басенъ, переложенная Крыловымъ: „Волкъ и Мышенокъ“.

Изъ стада сѣрый Волкъ
Въ лѣсъ овцу затащилъ, въ укромный уголокъ,
Ужъ разумѣется, не въ гости:
Овечку бѣдную обжора ободралъ,
И такъ ее онъ убиралъ,
Что на зубахъ хрустѣли кости.

Но какъ ни жаденъ былъ. а съѣсть всего не могъ;
Оставилъ къ ужину запасъ и подлѣ лѣгъ.
Понѣжиться, вздохнуть отъ жирнаго обѣда.
Вотъ, близкаго его сосѣда,
Мышенка запахомъ пирушки привлекло.
Межъ мховъ и кочекъ онъ тихохонько подкрался,
Схватилъ кусокъ мяса, и съ нимъ скорѣй убрался
Къ себѣ домой, въ дупло.
Увидя похищенье,
Волкъ мой
По лѣсу поднялъ вой:
Кричитъ онъ: „караулъ! разбой!
Держите вора! Раззоренье:
Расхитили мое имѣніе! — Вотъ-басня. а другая
половина ея:
Такое жъ въ городѣ я видѣлъ приключенье:
У Климыча судьи часишки воръ стянулъ, —
И онъ кричитъ на вора: караулъ! — (поясненье).
У Греческаго пересказчика Езоповскихъ басенъ
Бабрія, она нѣсколько иначе: Левъ отнимаетъ у волка
добычу, волкъ жалуется, что онъ незаконно отнимаетъ
его собственность. *)
Другой примѣръ: „Зеркало и Обезьяна“ Крылова.
Мартышка, въ Зеркалѣ увидя образъ свой,
Тихохонько медвѣдя толкѣ ногой:
„Смотри-ка“, говоритъ: „кумъ милый мой“!
Что это тамъ за рожа?
Какіе у нее ужимки и прыжки!

(* Избр. басни Эзопа перев. Алексѣев. 10 стр. Изд. Суворова.

Я удавилась бы съ тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А, вѣдь, признайся, есть
Изъ кумушекъ моихъ такихъ кривлякъ пять-шесть:
Я даже ихъ могу по пальцамъ перечесть“.
— „Чѣмъ кумушекъ считать трудиться,
Не лучше-ль на себя, кума, оборотиться?“
Ей Мишка отвѣчалъ.
Но Мишенькинъ совѣтъ лишь по-пусту пропалъ.

Такихъ примѣровъ много въ мірѣ:
Не любить узнавать никто себя въ сатирѣ.
Я даже видѣлъ то вчера:
Что Климычъ на руку не чистъ, всѣ это знаютъ;
Про взятки Климычу читаютъ,
А онъ украдкою киваетъ на Петра.

Иногда такое сопоставленіе является совершеннымъ параллелизмомъ, то есть — такъ, что не только всякій случай второго разсказа соотвѣтствуетъ первому, но и всякій стихъ въ первой половинѣ соотвѣтствуетъ стиху во второй. Такъ напр. въ баснѣ Лафонтена „Le coq et la Perle“.

Un jour, un coq détournâ
Une perle, qu'il donna
Au beau premier lapidaire.
— Je la crois fine, dit-il.
Mais le moindre grain de mil
Serait bien mieux mon affaire.
Un ignorant hérita

D'un manuscrit, qu'il porta
Chez son voisin le libraire.
— Je crois, dit-il, qu'il est bon
Mais le moindre ducaton
Serait bien mieux mon affaire *).

Или примѣръ изъ Лессинга: Львица, которую упрекали **) въ томъ, что она рождаетъ одного дѣтеныша отвѣчаетъ: „Да, одного, но льва“.

Другая половина:— „Я, говоритъ стихоплетъ поэту, сочиняю по семи трагедій въ годъ! А ты? Въ семь лѣтъ — одну! — „Да, одну, но Аталію“ (трагедія Расина) ***). Очевидно, выраженіе Лессинга, что одна басня можетъ быть то простой, то сложной (смотря по способу обработки)—не точно, потому что сложность именно и состоитъ въ томъ, что къ простой баснѣ прибавляется новый актъ творчества, т. е. новая басня.

Въ составной баснѣ, баснописецъ пользуется простою такъ же, какъ пользуются ею въ первобытномъ состояніи, съ той только разницей, что простая басня составляется по поводу частнаго житейскаго случая, а въ составной—по поводу готовой басни присоединяется частный случай. Кто составляетъ подобнаго рода басни, тотъ пользуется болѣе сложнымъ матеріаломъ и походить, какъ я уже сказалъ, на того продавца, который говоритъ: вотъ этотъ товаръ нуженъ на то-то и то-то. Присоединеніе къ баснѣ частнаго случая имѣ-

*) у Крылова передѣлка „Пѣтухъ и жемчужное зерно“.

**) по нѣкоторымъ вариантамъ, именно, свинья.

***) Лессингъ, Ueber d. Fabeln.

еть значеніе нѣкотораго рода надписи. Соединеніе частнаго случая *A* и басни *B* можетъ быть въ различной степени тѣсно и необходимо.

Вообще, чѣмъ общѣе, неопредѣленнѣе образъ, заключенный въ баснѣ, которую мы назовемъ *B*, и чѣмъ, стало быть, неопредѣленнѣе количество примѣненій этой басни, тѣмъ нужнѣе становится вмѣшательство самого автора, которое выражается въ присоединеніи къ ней еще другой басни. Это можно сравнить въ языкѣ съ тѣмъ, когда мы, чтобы выразить лучше нашу мысль, нагромождаемъ слова, которыя значатъ приблизительно одно и тоже.

Теперь обратите вниманіе на способы сочетанія образовъ сложной басни и на количество примѣненія ихъ. Мы уже условились разумѣть подъ образомъ въ поэтическихъ произведеніяхъ—дѣйствіе, а не только образъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова, который составляетъ содержаніе пластическихъ произведеній. Басня, которую я имѣю въ виду (Ячмень, Гребинки), отступаетъ отъ этого правила. Разговариваютъ сынъ съ отцомъ. Сынъ спрашиваетъ отца, почему на нивѣ много колосьевъ прямыхъ и очень мало наклонившихся внизъ, добавляя: какъ мы, неграмотные. передъ великимъ паномъ.... Отецъ отвѣчаетъ: прямые колосья пусты, безъ пользы растутъ на нивѣ, а наклонившіеся — Божья благодать, они насъ кормятъ. „Теперь я понимаю, почему нашъ писарь задираетъ голову“, замѣтилъ сынъ. Эта басня дѣлится на двѣ половины. Сопоставленія *A* (колосья) съ *B* и *B*¹ затрудняютъ примѣненіе этого *A*

къ скромности достойныхъ и высокоумію ничтожныхъ и ненужныхъ людей, ограничивая его отношеніями сословіи другъ къ другу, отношеніями земледѣльца къ сословіямъ и званіямъ, которыя при дурномъ состояніи общества, могутъ казаться чужаидными.

Прежде, чѣмъ ити далѣе, сдѣлаю небольшое отступленіе. Слово *нравственный* имѣетъ двоякое значеніе. Во 1-хъ оно противопоставляется слову *безнравственный*, когда, напр. мы говоримъ, что обманывать безнравственно; во 2-хъ, когда оно относится ко всѣмъ сношеніямъ людей другъ къ другу; въ этомъ смыслѣ называютъ извѣстныя науки нравственными, или нравственно-политическими; и въ этомъ смыслѣ нравственнымъ наукамъ противопоставляются не безнравственныя, а не относящіяся къ области нравственныхъ, стоящія внѣ человѣческихъ отношеній.

Поэтому можно сказать, что красть—относится къ области морали или нравственности; можно сказать, что это нравственно, потому что относится къ правамъ. Въ этомъ смыслѣ употребляется нѣмецкое слово — *moralisch*.

Это отступленіе нужно было для того, чтобы не останавливаться на немъ при опредѣленіи басни Лессинга. Лессингъ говоритъ: „если низвести всеобщее нравственное утвержденіе (*satz*) къ частному случаю, и рассказать этотъ случай, какъ дѣйствительный, т. е. не какъ примѣръ или сравненіе, а какъ будто это произошло дѣйствительно, при томъ такъ, чтобы этотъ рассказъ служилъ къ наглядному познанію общаго утвержденія; то это сочиненіе будетъ басней *)

*) Abhandl. üb. d. Fabeln.

Такимъ образомъ передъ нами готовый рецептъ, изъ котораго слѣдуетъ заключить, что сначала существуетъ въ мысли общее нравственное утвержденіе, напримѣръ, что „лестъ—вредна“, или „сильный пожираетъ слабого“, а затѣмъ уже къ этимъ общимъ положеніямъ нами придумывается—къ первому—басня о Воронѣ и Лисицѣ, ко второму—что такой-то звѣрь съѣлъ такую-то птицу или звѣря, а самъ, въ свою очередь, былъ съѣденъ другимъ звѣремъ и пр. Говоря такъ, выходитъ, какъ будто сначала существуетъ общее положеніе, которое потомъ низводится къ частному случаю, или, какъ выражаются французскіе теоретики *), переряживается въ иносказаніе, скрывается въ иносказаніи.

Въ примѣненіи къ языку это значило бы, что слово сначала означаетъ цѣлый рядъ вещей, напр. *столъ вообще*, или цѣлый рядъ качествъ, дѣйствій; а потомъ въ частности *эту вещь, этотъ столъ, это дѣйствіе*. Если это такъ, то спрашивается: откуда взялось это общее? Мы можемъ изъ соображенія или наблюденія доказать, что общее возникаетъ не иначе, какъ изъ сложения многихъ частныхъ, и добываніе общихъ мыслей происходитъ съ извѣстными усиліями, которыя бывають настолько велики, что до нѣкоторыхъ обобщеній человѣчество доходило лишь въ теченіе многихъ тысячелѣтій своей жизни; что многіе языки, а стало быть и говорящіе ими народы, извѣстныхъ обобщеній вовсе не могутъ выразить, или выражаютъ ихъ неполно, по-

De la Motte, Richer.

тому что эти обобщенія не составляютъ общаго достоянія средняго уровня говорящихъ. Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ русскихъ нарѣчїяхъ слово „человѣкъ“ вовсе не имѣетъ значенія зоологическаго и антропологическаго обобщенія „*homo sapiens*“ т. е. всякаго человѣка безъ различія пола, возраста, племени; по-малорусски было бы совершенно смѣшно, сказать, что женщина есть человѣкъ.

Если мѣрять утвержденіе Лессинга мѣркою, которую даетъ намъ языкъ, то уже съ самаго начала пришлось бы сомнѣваться въ вѣрности его рецепта басни. Въ случаѣ вѣрности опредѣленія Лессинга въ примѣненіи къ баснѣ, пришлось бы предположить, что сочинитель или примѣнитель басни, самъ ясно видитъ обобщенія, и что его цѣль состоитъ въ томъ, чтобы до этого же обобщенія довести слушателя, и что средства, которыя онъ выбираетъ для этого, достигаютъ своей цѣли. Между тѣмъ случаи дѣйствительнаго примѣненія басни показываютъ, что цѣль рассказчика вовсе не состоитъ въ томъ широкомъ обобщеніи, которое называютъ нравоученіемъ, или вовсе не въ томъ, чтобы довести своихъ слушателей до утвержденія, что напр. всякій, кто погонится за далекимъ, потеряетъ свое.

Цѣль рассказчика, это опредѣленная точка зрѣнія на дѣйствительный частный случай А. (т. е. на то, что мы называемъ психологическимъ подлежащимъ) посредствомъ сравненія его съ другимъ тоже частнымъ случаемъ, рассказаннымъ въ баснѣ Б. (психологическимъ сказуемымъ).

Разъясненіе перваго частнаго случая достигается тѣмъ, что изъ него выдвигаются впередъ или подчеркиваются только тѣ черты, которыя находятся въ соотвѣтствіи съ *Б. т. е.* съ разсказомъ самой басни.

Итакъ Лессингъ говоритъ, что общее положеніе низводится къ тому, что мы называемъ басней.

(Это говоритъ человѣкъ очень глубокомысленный — потому-то изслѣдованія его для насъ и важны — но человѣкъ XVIII в., и мы не можемъ въ извѣстныхъ случаяхъ съ нимъ соглашаться).

Если бы это было такъ, то рассказчикъ долженъ бы стоять на высотѣ отвлеченія, на той степени, на которой стоятъ позднѣйшіе собиратели, и долженъ стремиться къ тому, чтобы возвести слушателя на эту высоту; между тѣмъ какъ басня заключается въ разъясненіи частнаго случая другимъ частнымъ случаемъ, рассказаннымъ въ баснѣ. Эти два частныхъ случая неодинаковы. Одинъ случай изъ жизни, — конкретный, другой, который мы имѣемъ въ самой баснѣ, представляетъ уже извѣстнаго рода абстракцію. Отвлеченіе (абстракція) есть отнятіе тѣхъ чертъ изъ конкретнаго образа, которыя намъ нужны для изслѣдованія. Такимъ образомъ въ этомъ смыслѣ можно сказать, что конкретный образъ, заключенный въ баснѣ, по отношенію къ конкретному случаю въ дѣйствительности, — абстрактенъ. Я повторяю, разъясненіе достигается тѣмъ, что изъ конкретнаго случая выдвигаются впередъ при сравненіи его съ басней лишь нѣкоторыя его части, именно тѣ, которыя находятъ себѣ соотвѣтствіе въ

*

самой баснѣ. Слѣдовательно, даже это обобщеніе является, какъ нѣчто послѣдующее, какъ результатъ сравненія частнаго.

Далѣе это обобщеніе остается прикрѣпленнымъ къ частному случаю, остается само относительно частнымъ; а до такого обобщенія, которое выставляютъ въ началѣ или концѣ басни баснописцы, примѣнителямъ басни, слушателямъ дѣла нѣтъ. Отсюда происходитъ то, что позднѣйшіе баснописцы, такъ сказать, продавцы басни, которымъ наоборотъ нѣтъ дѣла до дѣйствительнаго, а есть дѣло до возможнаго ихъ примѣненія, что эти продавцы нерѣдко находятъ эту возможность вовсе не тамъ, гдѣ ее надо искать; выставляютъ обобщенія, вовсе несвязанныя съ басней или связанныя съ нею очень слабо.

Я еще разъ возвращаюсь къ частному примѣру примѣненія басни. Басня эта такая форма мысли, которая является нерѣдко въ наше время, безъ названія басни. Можетъ быть и мы когда-нибудь говоримъ басней, сами этого не замѣчая.

Щедринъ самъ говорилъ, что онъ постоянно употребляетъ Эзоповскій языкъ. Онъ при этомъ имѣлъ въ виду одно объясненіе происхожденія басни, которое я приведу послѣ; но у него встѣчаютъ и настоящія басни, напр. рассказъ „Игрушечныхъ дѣлъ мастера“.

Историческіе примѣры примѣненія басни имѣютъ для насъ ту цѣну, что если они только вѣроятны, то вполне убѣждаютъ насъ въ томъ, что люди смотрѣли на эту форму мышленія, какъ на способъ разясненія,

доказательство и т. д. Геродотъ рассказываетъ слѣдующее: Киръ послалъ къ Іонійцамъ пословъ съ предложеніемъ возстать противъ царя Креза и подчиниться ему. Іонійцы отказались, и затѣмъ, когда персы завоевали Лидію и Киръ находился уже въ столицѣ ея Сардахъ, то Іонійцы отправили къ нему пословъ съ предложеніемъ подчиниться ему на тѣхъ условіяхъ, на которыхъ они были подчинены Крезу. Киръ рассказъ, посламъ слѣдующую басню: Флейщикъ увидѣлъ рыбъ въ морѣ, сѣлъ на берегу и сталъ играть, думая, что привлечетъ ихъ на берегъ; но онѣ не вышли къ нему; тогда онъ закинулъ сѣтъ и вытащилъ ее изъ воды, полную рыбъ, и, видя какъ онѣ бились на берегу, сказалъ: „Полно плясать! Вы не хотѣли плясать, когда я вамъ игралъ“. *)

Здѣсь басней объясняется конкретный случай. Бабрій же, пересказывая эту басню безъ примѣненія, не упомянулъ, что Геродотъ приписалъ ее Киру. Геродотъ писалъ объ этомъ по слухамъ; но есть огромная вѣроятность, что это дѣйствительно было такъ. Бабрій пересказъ этой басни заключаетъ слѣдующимъ обобщеніемъ: безъ труда, не закидывая сѣти, ничего не добудешь, но если ты закинулъ сѣтъ и добылъ, что хотѣлъ, то умѣстна и шутка. Это есть примѣръ того, что если бы широкое обобщеніе было такъ ясно и очевидно, то Бабрій, который былъ человѣкъ, вѣроятно очень умный, схватилъ бы его, но онъ тутъ попалъ совершенно не туда, куда слѣдуетъ: флейщикъ тру-

*) Геродотъ, I, 141.

дился, закидывая сѣть такъ же, какъ и тогда, когда игралъ на флейтѣ.

И такъ, баснописецъ, который прилагаетъ къ баснѣ обобщеніе, бываетъ похожъ, скажемъ, на продавца игрушекъ, который говоритъ ребенку, что этой игрушкой играютъ такъ-то; а тотъ, кто безсознательно пользуется басней, походить на ребенка, которому не разъясняютъ, какъ можно пользоваться игрушкой, а играетъ ею. Объясненіе продавца можетъ быть болѣе или менѣе точно, если допустить такой случай, когда продавецъ игрушекъ самъ любитъ играть или когда инструментальный мастеръ — артистъ; но это будетъ другое дѣло. Я хочу сказать, что и баснописецъ можетъ сдѣлать правильное обобщеніе; но если бы обобщеніе было исходною точкою, стояло впереди басни, тогда онъ не могъ бы дѣлать неправильныхъ обобщеній; а онъ ихъ дѣлаетъ сплошь и рядомъ. Басня, говоритъ Лессингъ, есть низведеніе нравственнаго положенія къ частному случаю. А можетъ быть въ баснѣ бываетъ не одно такое нравственное положеніе, а много? Вотъ напр. басня Эзопа (изъ Бабрія).

Мужикъ и Аистъ.

Наставилъ мужикъ на пашнѣ силковъ, и поймалъ вмѣстѣ съ уничтожавшими его посѣвы журавлями аиста.

„Отпусти меня“, прихрамывая, просить онъ, „я не журавль, — я Аистъ, птица святой жизни, — чту своего отца и кормлю его. Взгляни на мои перья — цвѣтомъ они не похожи на журавлиныя!....— „Уймись“, перебилъ его мужикъ, — „съ кѣмъ ты попался, съ тѣмъ я тебѣ и

сверну шею“. Бѣги, не заводи знакомства съ негодя-
ями, не то наживешь бѣду вмѣстѣ съ ними.

Какое общее нравственное положеніе *низведено* въ этой баснѣ къ частному случаю? Хороша ли эта басня? удобно ли ее примѣнить? типична ли она? легко ли намъ найти рядъ случаевъ, которые соотвѣтствуютъ этой баснѣ? Мнѣ кажется она очень типичною, и примѣненія ея очень многочисленны. Я привелъ эту басню въ примѣръ, потому что на ней удобно показать, что на вопросъ, какое общее положеніе *низведено* въ ней, или какое обобщеніе изъ нея вытекаетъ, можно отвѣ-
тить, что это будетъ, смотря по примѣненію басни, или положеніе, которое высказываетъ Бабрій устами мужика: „съ кѣмъ попался, съ тѣмъ и отвѣтишь, или положеніе: человѣческое правосудіе своекорыстно, слѣ-
по“, или „нѣтъ правды на свѣтѣ“ или „есть высшая справедливость: справедливо, чтобы при соблюденіи великихъ интересовъ не обращали вниманія на выте-
кающее изъ этого частное зло“. Однимъ словомъ, чего хочешь, того и просишь; и доказать, что всѣ эти обобщенія ошибочны, очень трудно. Стало быть, если вѣрно, что во всякой баснѣ, смотря по точкѣ зрѣнія, по примѣненію ея, можно найти различныя обобщенія, то отсюда вытекаетъ такое правило. что кто предла-
гаетъ басню въ отвлеченномъ видѣ, какою она обык-
новенно бываетъ въ сборникѣ, тотъ по настоящему долженъ снабжать ее не однимъ обобщеніемъ, а ука-
заніемъ на возможность многихъ ближайшихъ обобще-
ній, ближайшихъ потому, что обобщенія будутъ кон-
чаться очнь далеко.

Вотъ Эзоповская басня: Зевсъ ниспослалъ снѣжную вьюгу. Спасаясь отъ нея, пастухъ думалъ загнать покрытыхъ снѣгомъ козъ своихъ въ пещеру, которая была необитаема. Онъ засталъ тамъ другихъ дикихъ козъ. Пастухъ принесъ дикимъ козамъ листьевъ, а своихъ оставилъ на дворѣ впроголодь. Когда же прошла вьюга, то онъ нашелъ своихъ козъ мертвыми, а дикія ушли въ горы по непроходимымъ дебрямъ. Онъ вернулся домой безъ козъ, достойный осмѣянія. Изъ жадности, желая получить чужое, онъ потерялъ свое. Въ другой версіи Эзоповскій басни обобщеніе слѣдующее: „не надо пренебрегать своимъ добромъ; не найдешь прибыли отъ чужого“. *)

Это примѣръ обобщенія, хотя и правильнаго, но слабо связаннаго съ басней. Хорошо то слово, которое замѣнить другимъ словомъ невозможно, которое вполне на мѣстѣ; хороша та басня, которая въ данномъ случаѣ вполне уместна и не можетъ быть замѣнена десятью другими. Если смыслъ басни только въ томъ, чтобы показать, что если изъ жадности погонишься за чужимъ, то и свое потеряешь, то есть десятокъ басенъ на эту тему; напр. „собака и кусокъ мяса“.

Притомъ такое примѣненіе имѣетъ въ виду только пастуха, а не козъ, т. е. оставляетъ въ сторонѣ то

*) Избр. б. Эзопа, пер. Алексѣева, 75: Не заводи знакомства съ тѣми, кто новыхъ друзей предпочитаетъ старымъ. Знай, какъ измѣнили намъ, своимъ испытаннымъ товарищамъ, такъ измѣнять и новымъ.

обстоятельство, которое помѣчено въ самой баснѣ. Куску мяса безразлично остается ли оно у собаки или нѣтъ, но козамъ не безразлично. Въ баснѣ говорится, что онѣ пропали и мы не вправѣ игнорировать этого обстоятельства. Обобщеніе приписываетъ пастуху непремѣнно жадность. Въ пересказѣ Крылова эта черта введена въ самую басню. Въ Эзоповской баснѣ эта черта вовсе не намѣчена. Можетъ быть пастухъ имѣлъ другія соображенія, можетъ быть онъ руководствовался желаніемъ улучшить породу козъ и не только своихъ, а домашнихъ козъ вообще? можетъ быть онъ былъ акклиматизаторъ, герой? Мы видимъ, что обобщеніе, которое приложено къ ней Бабріемъ, держится слабо.

Есть прекрасная книга Кеневича: „Примѣчанія къ баснямъ Крылова“. По поводу пересказа Крыловымъ этой басни Кеневичъ говоритъ (стр. 212), что было такое мнѣніе, что Крыловъ пересказалъ эту басню по поводу дарованной Александромъ I-мъ конституціи Царству Польскому. Кеневичъ опровергаетъ это мнѣніе тѣмъ, что изъ черновыхъ бумагъ Крылова видно, что басня эта была имъ написана 10 лѣтъ спустя послѣ этого событія, и Крыловъ поступилъ съ этою баснею, какъ продавецъ готовымъ товаромъ. Тѣмъ не менѣе, пусть это примѣненіе въ дѣйствительности не было сдѣлано Крыловымъ, а другими лицами, — оно вѣрно, и приводитъ къ совершенно другому обобщенію. Когда я примѣнилъ басню къ извѣстному случаю, стало быть, я по своему праву, и мнѣ никто не судья. Я этимъ не хочу сказать, что отношеніе Александра I-го къ

Польшѣ было такое, какъ сказывается въ баснѣ, я только говорю, что такого рода примѣненіе ея не только вѣрно, оно традиціонно, потому что, какъ я говорилъ, весьма многія басни, которыя ходятъ у насъ, какъ обобщенія житейскія, несомнѣнно имѣютъ политическое происхожденіе. Можетъ быть и эта Эзоповская басня о пастухѣ такого же происхожденія. Мы знаемъ, что у Гомерическихъ грековъ былъ распространенъ взглядъ на царя, какъ на пастыря народа, пастыря людей, такъ что мы имѣемъ готовую дорожку къ примѣненію этого рода, а разъ мы сдѣлали такое примѣненіе, окажется, что то обобщеніе, которое сдѣлалъ Бабрій невѣрно. Можетъ оказаться, что мотивъ жадности тутъ неумѣстенъ. Этимъ примѣромъ я хотѣлъ показать, что если бы было вѣрно положеніе, что при созданіи басни ей предшествуетъ общее положеніе, а басня есть низведеніе его; то ошибочныя обобщенія, которыя мы встрѣчаемъ часто у баснописцевъ, и которыя не могутъ быть не ошибочными, потому что ихъ можетъ быть не одно, а много, тогда такія обобщенія были бы невозможны. А такъ какъ они есть, то они не предшествуютъ баснѣ, а слѣдуютъ въ заключеніи.

Я напомню вамъ еще разъ сказанное мною, что образъ (или рядъ дѣйствій, образовъ), рассказанный въ баснѣ—это поэзія; а обобщеніе которое прилагается къ ней баснописцемъ—это проза. Стало быть, говоря о баснѣ и обобщеніи, мы вмѣстѣ съ тѣмъ трактуемъ объ отношеніи поэзіи къ прозѣ.

Лекція 4-я.

Баснописцы называютъ разсказъ, заключенный въ баснѣ, примѣромъ или доказательствомъ. Напр. у Федра въ баснѣ о „Галкѣ въ павлиньихъ перьяхъ“: „чтобы никому не хотѣлось хвалиться чужимъ добромъ и чтобы всякій лучше жилъ въ своемъ состояніи, Эзонъ оставилъ намъ этотъ примѣръ“ *); въ баснѣ — о дѣлежѣ добычи львомъ: „эта басня свидѣтельствуешь, что никогда небезопасно имѣть товарищемъ сильнаго“ **); въ баснѣ — о воробѣѣ, дающемъ совѣты зайцу: „глупо не смотрѣть за собою и въ тоже время давать совѣты другимъ“ ***). Вообще Федръ постоянно употребляетъ выраженія: *доказательство, примѣръ, басня намъ свидѣтельствуешь, показываетъ, доказываетъ, напоминаетъ.*

Тоже самое и у нашего баснописца Крылова: „То-му, что безъ ума перенимать, и Боже сохрани, какъ

*) Ne gloriari libeat alienis bonis

Suoque potius habitu vitam degere

Aesopus nobis hoc exemplum prodidit. Phaedrus, I, 3.

**) Numquam est fidelis cum potente societas:

Testatur haec fabella propositum meum., Phaedrus, I, 5.

***) Sibi non cavere et aliis consilium dare

Stultum esse paucis ostendamus versibus, ib. I, 9.

худо, я въ баснѣ приведу *примѣръ*“. Или въ баснѣ о „Червонцѣ“:

„Объ этой истинѣ святой

Преважныхъ бы рѣчей на цѣлу книгу стало;

Да важно говорить не всякому пристало:

Такъ съ шуткой пополамъ

Я басней *доказать* ее намѣренъ вамъ“.

Въ какомъ отношеніи басня можетъ служить доказательствомъ или примѣромъ?

Баснописцы по своему правы; но значеніе словъ, *доказательство* и *примѣръ*, по крайней мѣрѣ, двоякое, и поэтому слѣдуетъ оговориться, что можно понимать подъ словами *доказательство* и *примѣръ*. Въ точныхъ знаніяхъ доказывается только общее положеніе. Совершеннѣйшій образецъ научнаго обобщенія есть арифметическій итогъ, полученный изъ сложенія единицъ.

Свойство этого итога то, что въ немъ всѣ слагаемыя безусловно равны. Научное доказательство сводится на арифметическую повѣрку итога. Повѣрка итога состоитъ въ дѣйствиіи обратномъ тому, какимъ онъ полученъ. Такимъ образомъ научное доказательство есть разложеніе общаго положенія на тѣ элементы, изъ которыхъ оно составлено. Предположимъ, что передъ нами находится рядъ единицъ, идеально равныхъ между собою это какъ извѣстно, есть предположеніе, т. е. построеніе чисто умственное, потому что внѣ нашей мысли такого равенства слагаемыхъ единицъ не находится. Въ этомъ ряду единицъ отдѣлимъ группу въ 7 единицъ; повторя трижды *обобщеніе* — 7 получимъ 21. Доказа-

тельствомъ вѣрности этого обобщенія будетъ обратное дѣйствіе: $\frac{21}{3}=7$ и $\frac{21}{7}=3$. Тоже самое — и въ геометріи. Геометрическія построенія совершенно умственные, идеальныя. Предположеніе плоскости есть, какъ извѣстно, совершенно идеальное построеніе, потому что въ дѣйствительности плоскости не существуетъ. Сѣченіе одной плоскости другою даетъ намъ прямую линію. Двѣ линіи, находящіяся на одной плоскости, пересѣкаются въ одной точкѣ; изъ этого построена фигура треугольника. Наблюденіе свойствъ треугольниковъ приводитъ насъ къ обобщенію, что два треугольника, имѣющіе по одной равной сторонѣ и по два равныхъ угла, прилежащихъ къ этимъ сторонамъ, равны между собою. Въ чемъ заключается доказательство этого положенія? Оно заключается въ томъ же самомъ, какъ и повѣрка итога: въ разложеніи общаго на простѣйшія частности. Въ понятіи о прямой линіи, которое заключено въ понятіи о треугольникѣ, находится то, что пересѣченіе двухъ прямыхъ можетъ произойти только въ одной точкѣ. Такимъ образомъ, при наложеніи одного треугольника на другой, равныя стороны прикрываютъ другъ друга, другія стороны угловъ, прилежающихъ къ равнымъ сторонамъ, тоже прикрываютъ другъ друга и должны пресѣчься въ одной точкѣ.

Такимъ образомъ геометрическія доказательства, какъ и арифметическія, можно бы назвать тавтологіей, если бы они не шли путемъ обратнымъ тому, которымъ получено самое обобщеніе. Совершенно — то доказатель-

ство, которое разлагаетъ общее положеніе безъ остатка. Но такое разложеніе можетъ имѣть мѣсто только въ той области знанія, въ которой слагаемыя — единицы, или иначе говоря, элементы, изъ которыхъ получаютъ обобщеніе, безусловно равны между собою. Поэтому совершенное доказательство или совершенная повѣрка возможны только въ математикѣ, въ предѣлахъ конечныхъ величинъ, и въ логикѣ настолько, насколько она даетъ обобщенія математическаго приѣма мышленія. Въ другихъ областяхъ знанія доказательства имѣютъ тотъ же характеръ, но меньшую точность. Такимъ образомъ возьмемъ одно изъ положеній, по-видимому имѣющихъ математическую достовѣренность: *всѣ люди смертны*, т. е. были, есть и будутъ смертны.

Доказывать это, разумѣется, нужно тѣмъ же самымъ путемъ, именно, разлагая на отдѣльныя единицы, изъ которыхъ сложено это положеніе. Но такой путь встрѣчаетъ, очевидно, препятствія.

Прежде всего *всѣ люди* — понятіе для насъ неразложимое безъ остатка: прошедшее и будущее намъ неизвѣстны. Можно было бы доказывать такимъ образомъ: предположивши равенство людей въ извѣстномъ отношеніи, разложить понятіе о человѣкѣ, какъ органически живомъ и показать изъ состава этого понятія, что въ самомъ понятіи „органическая жизнь“ заключена необходимость смерти; но очевидно, что здѣсь точность встрѣчаетъ препятствіе: мы останавливаемся на вопросѣ, что такое жизнь, смерть? Даже на этомъ положеніи, не внушающемъ никому сомнѣнія, можно

показать, что здѣсь доказательства не могутъ достигнуть той точности, какую они имѣютъ въ наукахъ, занимающихся идеальными построеніями; поэтому лишь то, что человѣкъ создалъ въ своей мысли самъ, онъ можетъ разложить безъ остатка. Точность доказательствъ уменьшается по мѣрѣ того, какъ увеличивается неопредѣленность числа слагаемыхъ и неравенство ихъ между собою.

Такимъ образомъ въ приведенномъ примѣрѣ неравенство людей, по отношенію къ смерти, можно безъ большой ошибки счесть равнымъ нулю. Но какъ скоро мы видоизмѣнимъ это положеніе и скажемъ словами книги премудрости сына Сираха (18,8), что „число дней человѣка много 100 лѣтъ“, то мы увидимъ, что, по отношенію къ этому сроку жизни, разница между людьми будетъ весьма велика и разложеніе этого общаго положенія, его провѣрка можетъ привести, да и приводитъ дѣйствительно къ совсѣмъ другимъ результатамъ, что 100 лѣтъ не есть крайній предѣлъ человеческой жизни. Я повторяю, — чѣмъ болѣе равенство слагаемыхъ по отношенію къ суммѣ, т. е. по отношенію къ обобщенію, тѣмъ прочнѣе можетъ быть доказано это обобщеніе и наоборотъ. Отсюда слѣдуетъ, что сколько-нибудь точное доказательство нравственнаго правила, въ родѣ „съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тяжись“, было бы возможно только въ томъ случаѣ, если бы точно опредѣлили, что, напримѣръ, въ данномъ случаѣ слѣдуетъ разумѣть подъ слабымъ, бѣднымъ и что, наоборотъ, подъ богатымъ, сильнымъ. Безъ

такого опредѣленія или никакое доказательство невозможно, или мы получимъ опроверженіе самого общаго положенія; т. е. можно будетъ найти отдѣльный случай, когда съ сильнымъ можно бороться и съ богатымъ можно тягаться. И такъ, какъ ни различаются науки между собою въ степени точности доказательствъ, но общій характеръ доказательствъ есть именно математическій. Онъ состоитъ въ разложеніи общаго положенія на тѣ слагаемыя, изъ которыхъ оно получилось, стало быть въ нисхожденіи отъ общаго къ частному. Все, что противоположно этому, что мы иногда тоже называемъ доказательствомъ, будетъ, строго говоря, не доказательство, а построеніе общаго положенія.

Научная дѣятельность состоитъ не въ доказательствѣ; доказательство есть провѣрка того, что сдѣлано. Научный *примѣръ* отличается отъ научнаго *доказательства*, только какъ часть отъ цѣлаго, какъ одинъ изъ моментовъ разложенія отличается отъ суммы этихъ моментовъ, равной общему положенію. Стало быть, если я говорю: два треугольника равны, если въ нихъ находится по одной равной сторонѣ и по два равныхъ прилежащихъ угла, и, если я хочу пояснить это примѣромъ, я говорю: вотъ возьмите два такихъ треугольника. (Такъ какъ, согласно съ сказаннымъ уже разъ, совершенное обобщеніе и состоитъ именно въ томъ, что для полученія его берутся только совершенно равные случаи, или, если хотите, совершенно равныя доли: то, для поясненія такого обобщенія, *примѣръ безразличенъ*; безразлично, какой изъ частныхъ случаевъ,

входящихъ въ обобщеніе, будетъ нами взять. Когда я говорю, что птица есть животное, обладающее симметрическимъ строеніемъ тѣла, то для поясненія примѣромъ этого общаго положенія, я беру произвольно птицу, все равно, какая бы она ни была. Это происходитъ именно оттого, что обобщеніе „птица — животное съ симметрическимъ строеніемъ тѣла“, относится ко всевозможнымъ птицамъ и для составленія его взяты только совершенно равныя составныя части.

Чѣмъ несовершеннѣе обобщеніе, стало быть чѣмъ менѣе равны между собой, составныя его части; тѣмъ менѣе безразличенъ примѣръ, тѣмъ тщательнѣе приходится розыскивать его. Напримѣръ, есть наблюденіе, что конечные звуки ѣ и ѣ, которые теперь не произносятся, нѣкогда имѣли значеніе гласныхъ. и произносились какъ цѣлый слогъ, напр. *дворъ*, *волкъ*, *червь* и т. п., какъ конечное французское *e*, которое теперь произносится только въ пѣніи, но не въ живой рѣчи. Если мы на основаніи этого скажемъ: „всякое русское слово, кончающееся на согласный звукъ, нѣкогда имѣло на концѣ гласный звукъ“, то конечно 1000 примѣровъ, по отношенію къ этому положенію, будутъ безразличны: Богъ, конь, левъ. Но могутъ найтись такіе примѣры, которые возбуждаютъ вопросъ: не возникло ли извѣстное русское слово, кончающееся на согласную, въ то время, когда законъ гласности окончаній не дѣйствовалъ. Напр. если я скажу: „онъ *топъ* ногой“, „или онъ *хлопъ*“. то относительно этихъ словъ возможно сомнѣніе, точно ли они кончались когда-ни-

будь на гласную. Кромѣ того, русскими словами называются и такія, которыя вошли въ русскую рѣчь извнѣ. Если взять такое слово, то можетъ возникнуть вопросъ: можетъ быть это слово заимствовано изъ другого языка въ то время, когда глухой звукъ на концѣ уже не слышался? При такомъ положеніи, именно потому, что обобщеніе не есть совершенное, выборъ примѣра для его разъясненія не такъ безразличенъ, какъ въ математическихъ обобщеніяхъ. Мы говоримъ, что то или другое подтверждается *фактомъ*, находить *фактическое* подтвержденіе. Что такое фактъ? Если то, о чемъ мы говоримъ, есть общее положеніе, то въ настоящемъ случаѣ фактомъ называется то, что мы только что называли *примѣромъ*, и мы можемъ сказать, перефразируя сказанное выше, поставивъ вмѣсто *примѣра* — *фактъ*, что обобщеніе одинаково выражается во всѣхъ фактахъ, послужившихъ для его построения. Если мы произведенію своей мысли приписываемъ внѣшнее существованіе, то вмѣсто *обобщенія* мы можемъ употребить слово *законъ*. Сказанное выше можно выразить еще иначе: *фактъ, понимаемый въ указанномъ выше смыслѣ, возникаетъ одновременно съ своимъ обобщеніемъ, или закономъ*.

Это можетъ показаться неяснымъ. Я хочу сказать, что въ приведенномъ выше примѣрѣ: „птица имѣетъ симметрическое строеніе тѣла“. фактъ, подтверждающій это обобщеніе, есть не все понятіе о птицѣ, не все, что можно замѣтить о ней, а только та доля понятія о птицѣ, которая вошла въ наше обобщеніе и

возникла одновременно съ нашимъ обобщеніемъ. Обобщеніе состоитъ въ томъ, что мы въ фактѣ оставили только то, что вошло въ обобщеніе. Стало быть, если бы въ отношеніи къ обобщенію всѣ факты были безусловно равны между собой; то, очевидно, мы не могли бы отличить одного факта отъ другого. Здѣсь мы наталкиваемся на другое значеніе слова *фактъ*. Причина, по которой мы считаемъ за одинъ фактъ, напр. равенство трехъ внутреннихъ угловъ треугольника *A* двумъ прямымъ угламъ, заключается въ томъ, что въ данномъ треугольникѣ, кромѣ равенства внутреннихъ угловъ двумъ прямымъ, заключаются еще и другіе признаки, напр. величина сторонъ, отношеніе между собою двухъ угловъ, кромѣ прямого. Сдѣлленіе признаковъ (или, какъ выражаются обыкновенно комплексъ признаковъ), частію вошедшихъ въ обобщеніе, и частію не вошедшихъ въ него, можетъ быть названо, въ отличіе отъ вышеприведеннаго отвлеченнаго факта, *фактомъ конкретнымъ*. Чѣмъ болѣе въ фактѣ признаковъ, не вошедшихъ въ данное обобщеніе, тѣмъ въ большее число обобщеній этотъ фактъ можетъ входить, т. е. другими словами: если въ конкретномъ фактѣ заключается десять признаковъ, то по одному изъ этихъ признаковъ *A* онъ входить въ обобщеніе *x*, а по девяти другимъ онъ можетъ входить въ девять другихъ обобщеній. Слѣдовательно, выходитъ, что конкретный фактъ можетъ представляться точкой, черезъ которую проходитъ множество кривыхъ, замыкающихъ собою плоскость, такъ какъ черезъ извѣстную математическую

точку можно провести безчисленное множество такихъ линій.

Если имѣть въ виду это второе значеніе факта, т. е. его конкретность, то мы можемъ выразиться такъ: *законы или обобщенія постоянны, неподвижны, а конкретные факты, изъ которыхъ они добыты, измѣнчивы.* Вотъ въ общихъ чертахъ то, что разумѣется подъ научнымъ примѣромъ и научнымъ доказательствомъ. Я повторю еще разъ схему: всякое научное доказательство походить на арифметическую повѣрку суммы посредствомъ разложенія.

Что бы намъ сказалъ математикъ, если бы мы на вопросъ, какъ доказать, что $3 \times 7 = 21$, сказали: „это слѣдуетъ изъ того, что палка стоитъ въ углу“. Разумѣется, онъ сказалъ бы, что это совершенная нелѣпость. Или, если бы намъ надо было провѣрить итогъ въ 21 р. и кто нибудь вздумалъ для этого употребить другія величины, несоизмѣримыя рублямъ, напр. аршинъ и т. п.; очевидно, это было бы нелѣпостью. А подобныя доказательства и бываютъ въ баснѣ.

И такъ, въ какомъ смыслѣ басня можетъ служить доказательствомъ общаго положенія? Для того, чтобы видѣть это, возьмемъ басню Эзопа, которая, по словамъ баснописца, учить быть кроткимъ. „Эта басня учить, мой сынъ, быть кроткимъ: увѣщанія дѣйствуютъ лучше силы“.*)

Изъ круга какихъ явленій взято это обобщеніе? Какъ мы будемъ провѣрять его? У насъ имѣется съ одной стороны человѣкъ, а съ другой—кротость; дока-

*) Babrius, 18.

зывается, что кротость должна существовать въ каждомъ человѣкѣ. Здѣсь не можетъ быть точной повѣрки, потому что невозможно разложеніе обобщенія на всѣ составные элементы его: всѣ эти элементы не равны между собою. Это существенное и самое важное.

Какъ бы мы могли правильно доказать это обобщеніе? Мы должны были бы найти возможно большее число случаевъ, заимствованныхъ изъ человѣческой жизни, такихъ случаевъ, которые бы намъ показали, что насиліе приносить вредъ человѣку, а кротость пользу.

Посмотримъ, такъ ли поступаетъ въ этомъ случаѣ басня? Въ баснѣ говорится такъ: Солнце и Борей поспорили, кто изъ нихъ сниметъ плащъ съ человѣка, шедшаго по полю? Борей думалъ взять силой, но чѣмъ сильнѣе онъ дулъ, и, чѣмъ холоднѣе становилось человѣку, тѣмъ болѣе онъ кутался въ плащъ, пока не дошелъ до скалы, за которою присѣлъ въ затишьи. Тогда выглянуло солнце, пригрѣло человѣка, ему стало жарко, и онъ самъ скинулъ плащъ. Борей призналъ себя побѣжденнымъ.

Если мы найдемъ, что эта басня хороша, то это будетъ совершенно независимо отъ годности ея служить доказательствомъ общаго положенія. Какимъ образомъ можетъ она служить доказательствомъ его?

Такъ какъ мы нашли, что это положеніе есть сумма, получаемая изъ отдѣльныхъ случаевъ человѣческой жизни; то мы не имѣемъ право провѣрять ее ничѣмъ, какъ только случаями изъ человѣческой же

жизни. А кто такой Борея? Кто солнце? Это, съ точки зрѣнія древнихъ Грековъ, — божества. Слѣдовательно равенства тутъ быть не можетъ, и въ этомъ отношеніи выходитъ нѣчто похожее на малороссійскую пародію: „въ огороді бузина, а въ Києві дядько“. Далѣе о чемъ говоритъ эта басня? Развѣ она говоритъ о кротости и некротости? Она можетъ говорить не о нравственныхъ свойствахъ, а о цѣлесообразности или нецѣлесообразности средствъ. На этомъ примѣрѣ можно видѣть, что такія положенія, какъ заключенныя въ баснѣ, положенія нравственныя, касающіяся человѣческихъ отношеній — такого рода, что точныхъ доказательствъ не допускаютъ. Это можно видѣть изъ того, что можно привести противоположный примѣръ. Эта басня учитъ кротости, а басня, которую я приводилъ прежде, о рыбахъ, говоритъ нѣчто совершенно другое. *) Если эти басни примѣнить къ воспитанію, то одна изъ нихъ говоритъ: „дѣтей учать больше слова, чѣмъ розга“, а другая: „Тамъ словъ не надо тратить попустому, гдѣ надо власть употребить“, эти двѣ басни не доказываютъ общаго положенія, потому что онѣ заимствованы изъ совсѣмъ другого круга явленій, чѣмъ обобщенія. То самое, что находимъ мы въ этихъ двухъ отдѣльныхъ басняхъ, можемъ найти и во всѣхъ другихъ. Я приведу еще въ примѣръ басню Бабрія: *) „Дровосѣкъ срубилъ сосну и, чтобы облегчить себѣ трудъ, сталъ загонять въ расщепъ ея деревянный клинъ. Тогда сосна

*) Ср. басню Крылова, „Котъ и Поваръ“.

**) Babrius, 38.

простонала: „Какъ жаловаться на топоръ, (желѣзный или бронзовый) когда мои дѣти разрываютъ меня, проныкая въ мое сердце“. Эта басня должна показать намъ, что чужіе люди не могутъ сдѣлать намъ столько зла, какъ близкіе.

Здѣсь повторяется тоже самое. Какое отношеніе между клиномъ и деревомъ съ одной стороны—и людьми съ другой?

Кромѣ того, съ нашей точки зрѣнія, въ этомъ построеніи басни заключается неудобство, которое не существовало въ древности. У насъ возможны не только деревянные, но и желѣзные клинья; тутъ той разницы, которая была между топоромъ и клиномъ, для насъ можетъ и не быть.

Или вотъ еще общее положеніе. Баснописецъ говоритъ: „Съ сильнымъ лучше не спорить, а покориться“, и въ доказательство этого положенія приводится извѣстная басня Эзопа „Дубъ и трость“: Буря вырвала съ корнемъ огромный дубъ и съ горы сбросила его въ рѣку, по плоскимъ берегамъ которой росъ тростникъ. И сталъ дубъ дивиться, что буря, вырвавши его, не вырвала тонкаго камышу. А камышъ и говорить: Не дивись; ты спорилъ съ бурей и побѣжденъ, а мы гнемся и отъ легкаго вѣтерка. *) Число неудобствъ, количество обстоятельствъ, по которымъ данная басня есть дурное доказательство съ точки зрѣнія научной, — значительно. Мною уже было показано прошлый разъ, что басня

*) Противоположное въ Панчатантрѣ,—Куликъ и море; ср. Экклез., IX, 13,—6.

не можетъ быть доказательствомъ одного отвлеченнаго положенія, потому что она служить средоточіемъ многихъ отвлеченныхъ положеній. Стало быть, каждый разъ, когда мы попытаемся сдѣлать басню такимъ доказательствомъ, она будетъ доказывать больше, чѣмъ требуется. Согласно съ сказаннымъ о двойственномъ значеніи слова *фактъ*, рассказъ, заключенный въ баснѣ, есть фактъ не отвлеченный, а конкретный. Но такъ какъ только отвлеченный фактъ можетъ служить хорошимъ примѣромъ, тогда какъ фактъ конкретный служить всегда примѣромъ многимъ обобщеніямъ, слѣдовательно не можетъ говорить только то, что заключено въ положеніи, а говорить всегда больше; то о баснѣ можно сказать, что она примѣромъ въ научномъ смыслѣ служить не можетъ. Рассказъ басни есть фактъ неоднородный съ фактомъ, лежащимъ въ основаніи обобщенія, присоединяемаго къ нему. Другими словами, по отношенію къ обобщенію — „лучше съ сильнымъ не спорить“ и по отношенію къ отдѣльному случаю или отдѣльнымъ случаямъ, изъ которыхъ это обобщеніе построено, на примѣръ случай, когда слабый вздумалъ спорить съ сильнымъ и погибъ — басня „*Дубъ и трость*“. и всякая другая басня есть иносказаніе.

Какъ иносказаніе, именно въ силу того, что оно говоритъ другое, а не то, что находится въ обобщеніи, оно научнымъ доказательствомъ ни въ какомъ отношеніи не можетъ быть. Правильное обобщеніе этого иносказанія, то есть превращеніе изъ частнаго въ общее, если оно возможно, никакъ не можетъ намъ дать

въ результатѣ того обобщенія, которое слѣдуетъ доказать, опять по той же причинѣ, что басня по отношенію къ обобщенію есть иносказаніе. Здѣсь я сдѣлаю нѣкоторое обобщеніе, предупреждая доказательства, то есть выскажу нѣчто, пока голословное, что постараюсь доказать впослѣдствіи, именно: что всякое поэтическое произведеніе и даже всякое слово, въ известный моментъ его существованія, состоитъ изъ частей, соотвѣтственныхъ тѣмъ, которыя мы замѣчали въ баснѣ. Я постараюсь показать послѣ, что иносказательность есть непремѣнная принадлежность поэтическаго произведенія. Теперь же я хочу только расширить положеніе, которое только что высказалъ, и сказать, что не только иносказаніе въ баснѣ, но и всякое поэтическое иносказаніе не можетъ быть доказательствомъ общаго положенія. Это не отнимаетъ у иносказанія важности значенія, потому что, какъ я уже сказалъ, дѣятельность человѣческой мысли распадается на два, смѣняющіе постоянно другъ друга, пріема: на построеніе обобщенія изъ частныхъ и на разложеніе этого обобщенія опять на частности. Слѣдовательно, если въ процессѣ разложенія иносказаніе не можетъ играть никакой роли, то, можетъ быть, оно играетъ важную роль въ процессѣ сложенія? Такъ это и есть на самомъ дѣлѣ. Чтобы не расширять подобныхъ наблюденій и остановиться на баснѣ, я поставлю такой вопросъ: если нравоученіе въ баснѣ иносказаніемъ не доказывается, если иносказаніе не можетъ служить и примѣромъ, то какая же связь между нравоученіемъ и

басней? Непосредственной связи нѣтъ никакой, но къ чему служить басня? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны воротиться назадъ.

Представимъ себѣ цѣлый рядъ запутанныхъ фактовъ изъ человѣческой жизни: тысячѹ фактовъ и признаковъ, переплетающихся другъ съ другомъ такъ, что человѣку сразу найтись нельзя. а найтись сразу непременно нужно для практической цѣли. И вотъ является басня. Сопоставленіе ея съ данными запутанными фактами жизни выдѣляетъ изъ этихъ фактовъ только опредѣленное, извѣстное количество признаковъ. На этихъ признакахъ мысль и сосредоточивается.

Я приводилъ уже такіе примѣры. Вспомните библейскую басню Наана, басню Кира или басню Пугачева—все равно, всѣ онѣ таковы. Обратите вниманіе, что, напр., около басни Пугачева группируется цѣлый кругъ людей, подобныхъ Пугачеву, такихъ, которые предпочитаютъ быть орломъ на часъ, чѣмъ ворономъ на вѣкъ. Что Пугачевъ стоитъ тутъ не одиноко, доказывается въ разныхъ языкахъ пословицами: многіе Сербскіе разбойники говорятъ тоже самое. *) Если поставить около басни цѣлый кругъ подобныхъ личностей и рассмотреть, что въ нихъ заключается общаго, то получится типъ ихъ. Басня служитъ только точкой, около которой группируются факты. изъ которыхъ получается обобщеніе.

Если существованіе такой точки, около которой сосредоточивается наблюденіе, необходимо для нашей

*) Волим мастан капати (stillare), него гладан плакати, Карадж. 38, послов.; хоть на часъ, да вскачь, Даль, Послов.

мысли, то басня и многое другое подобное является рычагомъ, необходимымъ для нашей мысли. Такимъ образомъ басню (иносказаніе), по дѣйствию, которое она производитъ на собирающіяся около нея частныя наблюденія, подлежащія обобщенію, можно сравнить на примѣръ (сравненіе будетъ не точно, но образно), съ тѣмъ, когда соляной растворъ въ соляномъ озерѣ начинаетъ уже густѣть, тогда щепки, палочки, крестики или другія фигуры, брошенныя въ этотъ растворъ служатъ основаніемъ, около котораго группируются кристалы. Конечно, они группировались бы и иначе, на днѣ, но тѣмъ не менѣе, особенно легко группировка происходитъ около нихъ. Сравненіе — не доказательство, но подобное дѣйствіе имѣетъ и иносказаніе на факты изъ жизни, и совершенно аналогичное съ этимъ явленіемъ мы находимъ въ области языка.

Слѣдовательно роль басни, а выражаясь общѣе, роль поэзіи въ человѣческой жизни есть роль синтетическая; она способствуетъ намъ добывать обобщенія, и не доказывать эти обобщенія. Поэзія есть дѣятельность сродная научной, параллельная ей. Разница только та, что построеніе научное стремится прикладывать равное къ равному, однородные факты къ однороднымъ. Но откуда добывать эти однородные факты? Только ихъ близкое разсмотрѣніе можетъ показать эту однородность. Но какъ ее уловить? Средствомъ для этого уловленія является, между прочимъ, иносказаніе. Иносказательный рассказъ басни служитъ средоточіемъ многихъ частныхъ случаевъ, къ коимъ примѣняется.

Примѣненіе къ одной и той же точкѣ устанавливаетъ равенство между отдѣльными случаями и возводитъ ихъ къ отвлеченію. Я старался доказать это положеніе относительно басни. Относительно другихъ поэтическихъ произведеній, оно требуетъ также доказательствъ.

Лекція 5-я.

Я привелъ въ одной изъ прошлыхъ лекцій старинное мнѣніе о происхожденіи басни. Въ предисловіи къ третьей книгѣ басень Федръ говоритъ, что боязливое рабство, которое не смѣло сказать того, что хотѣло, переносило свои огорченія въ басни и старалось уклониться отъ обвиненія въ клеветѣ посредствомъ выдуманнаго разсказа. Сказавъ о томъ, что онъ слѣдовалъ по пути Эзопа и старался расширить этотъ путь, баснописецъ прибавляетъ, что онъ увеличилъ число басень Эзопа на свою бѣду. „Я бы, говоритъ онъ, не жаловался на это, еслибы и обвинитель, и свидѣтель, и судья не сосредоточивались въ одномъ лицѣ Сеяна. (Сеянъ былъ любимецъ Тиберія). Другіе объясняютъ это мѣсто иначе и говорятъ, что оно значитъ: еслибы у Сеяна былъ другой обвинитель, другой свидѣтель, другой судья его преступленія — и думаютъ, что онъ самъ принадлежалъ къ друзьямъ Сеяна, а то лицо, которое свергло Сеяна (Тиберій), угрожало ему самому, т. е. Федру *).

Во всякомъ случаѣ то, что мы на нашемъ языкѣ называемъ подцензурностью, безъ сомнѣнія, до нѣко-

*) Phaedr III, 33 сл.

торой степени участвовало не въ изобрѣтеніи иносказанія вообще, а въ изобрѣтеніи отдѣльных иносказаній.

Не безъ умысла, повидимому, поставилъ Федръ въ началѣ первой книги своихъ басенъ извѣстную басню: „Волкъ и Ягненокъ“, съ поясненіемъ, что эта басня написана о тѣхъ людяхъ, которые угнетаютъ невинныхъ подъ вымышленнымъ предлогомъ. Возможно, что онъ примѣнялъ это и къ себѣ, къ опѣнкѣ своего литературнаго труда.

Тотъ взглядъ, что басня выдумана, чтобы скрыть истину, предполагаетъ, разумѣется, что сначала имѣется въ чистомъ видѣ та истина, которая облечена въ басню, а затѣмъ слѣдуетъ само облеченіе ея въ форму басни ради того, чтобы избавиться отъ нареканій и наказаній*). На тему „Nuda veritas“ не мила знатымъ — существуютъ и другіе варианты.

Измайловъ, предшественникъ Крылова, начинаетъ свои басни вступленіемъ о „Происхожденіи и пользѣ басни“. (I т. 3—4, изд. Смирдина).

Однажды—кто-бъ повѣрить могъ?

Къ Царю, въ его чертогъ,

Вошла вдругъ Истина нагая.

Царь въ гнѣвѣ закричалъ: „Безстыдница какая!

Какъ смѣла ты войти и кто ты такова?“

—Я Истина— „Зачѣмъ?“ — Сказать лишь слова два:

Лъстецы престоль твой окружаютъ;

*) Ср. пословицу: Съ нагольной правдой въ люди не кажись
Даль, 193

Народъ вельможи угнетаютъ;
Ты нарушаешь самъ нерѣдко свой законъ.....

„Вонъ, дерзкая! вонъ! вонъ!

Гей стражи! гей, войдите!

Возьмите, отведите

Ее въ смиренный, иль въ сумашедшій домъ!“

Хорошъ былъ Истинѣ пріемъ!

Вздыхнула бѣдная и вмигъ изъ глазъ пропала.

Охота послѣ ей припала

Ити къ Царю. Подумала, пошла,

Но ужъ не голая, какъ прежде:

Въ блестящей, дорогой одеждѣ,

Которую на часъ у Вымысла взяла.

Смятчивши грубый тонъ, къ Царю она съ почтеньемъ

Приблизилась, и съ нимъ вступила въ разговоръ.

Царь выслушалъ ее съ великимъ снисхожденъемъ;

Перемѣнился скоро Дворъ:

Временщики упали:

Пришелъ на знатныхъ черный годъ;

Вельможи новые не спали:

Царь славу приобрѣлъ, и счастливъ сталъ народъ.

Такая одежда нравоученія, какъ это полагаютъ и болѣе новые ученые, въ самомъ дѣлѣ, могла быть необходимымъ практическимъ пріемомъ мысли передъ строгими восточными деспотами. (Benfey Pantshatantra, I, XVI). Тѣмъ не менѣе, изъ того, что я говорилъ выше, можно вывести, что происхожденіе иносказанія не могло быть такимъ.

Во-первыхъ, басня въ частности и иносказаніе вообще существуетъ и тамъ, гдѣ преслѣдуется цѣль

не практическая, а цѣль познанія теоретическая, и гдѣ, такъ называемая, голая истина, если бы она могла быть воспринята непосредственно, не можетъ вызвать ни въ комъ раздраженія. Во-вторыхъ, если бы таково было дѣйствительно происхожденіе иносказанія въ баснѣ, то, такъ какъ всѣ остальные иносказанія, т. е. всѣ поэтическія произведенія безъ исключенія, въ этомъ отношеніи, по иносказательности, сходны съ басней, нужно было-бы предположить такое происхожденіе и поэзіи вообще, что прямо немыслимо. Наконецъ, въ третьихъ, то, что я старался выше показать на баснѣ и что можно было бы показать на другихъ родахъ поэтическихъ произведеній, именно, что иносказаніе служитъ средоточіемъ, около котораго собираются (мыслью) отдѣльные случаи, изъ которыхъ потомъ получается обобщеніе или, если угодно, нравоученіе. Изъ этого слѣдуетъ, говоря другими словами, что басня есть средство познанія, обобщенія, нравоученія и, какъ средство, не можетъ слѣдовать за тѣмъ, что имъ достигается, а должно предшествовать ему, т. е. что вообще говоря, бываетъ не такъ, что сначала берутъ отвлеченное положеніе, а затѣмъ придумываютъ къ нему образы, а наоборотъ, предшествуетъ той общей истинѣ, которая притомъ не всегда горька. Поэтому, басня есть болѣе элементарный, болѣе простой, болѣе общераспространенный, какъ говорятъ, популярный способъ познанія, чѣмъ научный. Поэтому, то, что можно назвать подцензурностію, можетъ быть не причиною изобрѣтенія образа, а только условіемъ, которое

портить этотъ образъ, замедляетъ и ослабляетъ его дѣйствіе, а не создаетъ. Я сдѣлаю еще одно замѣчаніе по поводу сказаннаго мною прежде. Я старался объяснить, какимъ образомъ происходитъ пользованіе баснею, и показалъ, что она является отвѣтомъ на вопросъ, представляемый отдѣльнымъ, частнымъ житейскимъ случаемъ. Я указалъ также на другое состояніе басни въ рукахъ пересказчиковъ и собирателей его. Въ чемъ же заключается пользованіе готовою баснею, находящеюся въ сборникѣ?

Для насъ читателей, а не изобрѣтателей басни, находить въ нашей собственной жизни во время нашего чтенія случаи, къ которымъ примѣняется басня, очень трудно, иногда невозможно; можетъ быть подобныхъ случаевъ наша жизнь не представляетъ. Примѣненная къ дѣйствительнымъ случаямъ, въ родѣ указанныхъ мною прежде, басня дѣйствуетъ мгновенно, или вовсе не дѣйствуетъ, если она не понята или дурна.

Когда-же басня дана намъ не въ томъ конкретномъ видѣ, о которомъ я говорилъ, а въ отвлеченномъ, въ сборникѣ; то она требуетъ для пониманія, чтобы слушатель или читатель нашелъ въ собственномъ воспоминаніи извѣстное количество *возможныхъ* примѣненій, возможныхъ случаевъ; безъ этого пониманіе ея не будетъ возможно, а такой подборъ возможныхъ случаевъ требуетъ времени. Этимъ объясняется, между прочимъ, тотъ совѣтъ, который находится въ предисловіи къ „Стихотвореніямъ въ прозѣ“ Тургенева—читать ихъ медленно, по одному, по два....

Дѣло не въ медленномъ чтеніи, а въ томъ подборѣ возможныхъ случаевъ, примѣненій, о которомъ я только что упомянулъ. Несоблюденіе этихъ правилъ составляетъ ошибку тѣхъ, которые безъ специальной научной цѣли читаютъ, напримѣръ, сборники пословицъ быстро, подъ рядъ. Такое чтеніе можно сравнить съ извѣстнымъ всѣмъ осмотромъ большихъ картинныхъ галерей въ теченіе короткаго времени, съ осмотромъ, который, кромѣ утомленія, не оставляетъ послѣ себя ничего.

Я перейду теперь отъ басни къ другой поэтической формѣ, къ пословицѣ.

То, что мы называемъ пословицами, не представляетъ такой однородности, какъ басня. Мы видимъ, что пословицами называются короткія словесныя произведенія весьма разнородныя.

Одинъ изъ видовъ пословицъ примыкаетъ непосредственно къ баснѣ. Чтобы объяснить это, я обращаю ваше вниманіе на тонъ спокойнаго изложенія басни. Если, напримѣръ, я скажу такъ: лисица попала въ капканъ и говоритъ: „хоть рано, а знать ночевать“. Или слѣдующій рассказъ: Погонщикъ шель за тяжело-нагруженнымъ возомъ, который тащили волю; волю шли молча понутивъ головы, а возъ скрипѣлъ. Погонщикъ говоритъ: „чѣмъ мясу ревѣть, анъ дерево скрипитъ“. Какъ-бы спокойно ни говорить это, тонъ повышается къ концу и сила рѣчи падаетъ на изреченіе, потому что въ этомъ изреченіи сосредоточивается вся сила

разказа. Такой порядокъ изложенія, и долженъ быть удержанъ и удерживается при большей или меньшей продолжительности разказа, при его новостяхъ для слушателя и относительной неизвѣстности. Но если самъ разказъ намъ достаточно извѣстенъ, то становится возможнымъ извращенный порядокъ—что называется латинскимъ терминомъ „инверсія“—и тогда сила рѣчи падаетъ опять на это изреченіе, но общій тонъ рѣчи будетъ пониженъ къ концу.

Когда я скажу такъ: „хоть рано, а знать ночевать“, сказала лисица, попавши въ капканъ—то пониженіе тона идетъ правильно къ концу разказа. „Чѣмъ мясу ревѣть, анъ дерево скрипитъ!“ *) сказалъ погонщикъ, раздражившись, что его волю тянутъ возъ молча, а возъ скрипитъ. Я сдѣлаю небольшое отступленіе. Говоря объ извѣстнаго рода поэтическихъ произведеніяхъ, мы возвращаемся въ области отвлеченій. Отвлеченія составляютъ, по видимому, цѣль нашей мысли. Но такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Будетъ ли удовлетворена наша мысль, если она будетъ наполнена одними отвлеченіями, такими, какъ напр.: планъ города, карта страны, схематическое изображеніе человѣческой фигуры? Или, если представить себѣ, что кто нибудь ограничивается только математической формой человѣческой мысли, наиболѣе отвлеченной, каково будетъ состояніе этого человѣка и отношеніе его ко всему, что вокругъ него? Это трудно себѣ

*) Ср. русскую пословицу: худое колесо пуще скрипитъ, Даль послов. 257.

представить. Во всякомъ случаѣ это явленіе было бы въ высшей степени уродливо. Отвлеченію противопоставляютъ конкретныя воспріятія, изъ которыхъ они получаютъ; но на однихъ конкретныхъ воспріятіяхъ не можетъ успокоиться мысль, потому что процессъ обобщенія присущъ человѣческой природѣ.

Обобщеніе имѣетъ для насъ цѣну только въ томъ случаѣ, если подъ нимъ мы имѣемъ конкретныя воспріятія, изъ которыхъ оно получено. Одно обобщеніе есть познаніе слишкомъ отдаленное, которое напоминаетъ извѣстную басню о слѣпцѣ: Слепецъ спрашиваетъ у вожака: гдѣ ты былъ? — „Молоко ходилъ пить.“ — „Каково оно?“ — „Бѣлое“. „Что это такое бѣлое?“ — „Такое, какъ гусь“. „А какой гусь“. „Такой какъ мой локоть“. Слепецъ пощупалъ локоть и сказалъ: „Теперь знаю, какое молоко“.

Таковы наши познанія о вещахъ, когда мы судимъ о нихъ по отдаленнымъ обобщеніямъ. Такимъ образомъ, говоря о поэтическихъ произведеніяхъ, слѣдуетъ стремиться не столько къ тому, чтобы давать возможно большее количество обобщеній, сколько къ тому, чтобы они были по возможности не пусты, а полны конкретныхъ воспріятій. Руководясь такими соображеніями, я не ограничиваюсь однимъ, двумя примѣрами, а приведу ихъ нѣсколько.

Извѣстная басня про сломанный рогъ у козы: Коза не хотѣла ити съ пастбища. Пастухъ кинулъ въ нее камень и сшибъ ей рогъ. Потомъ испугался, что хозяинъ съ него за это взыщетъ, и проситъ козу: „не

сказывай про это хозяину“, а коза говоритъ ему: „хоть я буду молчать, такъ рогъ заговорить“. *) (Басня допускаетъ инверсію). Если въ нашей жизни нѣтъ случаевъ, къ которымъ мы можемъ примѣнить басню, то мы не можемъ почувствовать ея годность; и если мы хотимъ оцѣнить ея годность, то мы должны искать въ своей памяти такихъ случаевъ, къ которымъ можно примѣнить ее.

Но имѣется въ виду возможность такого рода случая: „Видитъ татаринъ кисель во снѣ, да ложки нѣтъ; взялъ ложку, да киселя не видитъ“. Встрѣтится подобный случай въ жизни, что басня можетъ пригодиться, но мы ея не знаемъ. На этомъ основывается педагогическое правило, что надо дѣлать запасъ такихъ образовъ въ отвлеченномъ видѣ, которые мы можемъ на самомъ дѣлѣ примѣнять.

Другого отношенія къ баснѣ, какъ примѣненія ея къ дѣйствительнымъ случаямъ жизни не должно существовать, поэтому, прежде чѣмъ давать ученику прочесть басню, надо самому найти возможные примѣненія ея.

„Арабъ выучить верблюда и спрашиваетъ: какъ тебѣ лучше ити — на гору или съ горы?“

„А развѣ ровная дорога уже залегла?“ спрашиваетъ верблюдъ. — **),

Извращеніе порядка разсказа, очевидно, здѣсь неудобно. Когда мы производимъ перестановку заклю-

*) Babrius, Ср. у Карадж. серб. посл. „Ако коза лаже, рог не лаже.“

**) Babrius, 8.

чительной фразы и ставимъ ее впереди разсказа, то мы говоримъ объ извѣстномъ и расчитываемъ, что фраза сама по себѣ понятна.

„Знаетъ Богъ чье масло въ лампадкѣ горитъ“ сказалъ кто-то, узнавши въ церкви украденную у него лампадку съ масломъ.

„Намъ все равно нѣтъ никакого дѣла дома“ сказала собака больному коню, ожидая, чтобы онъ издохъ, въ отвѣтъ на его предложеніе ити домой *). (Такая перестановка опять неудобна). „Должно быть не стало воды или дровъ!“ сказалъ осель, когда его позвали на свадьбу **). „Знаете ли вы, что между животными установился миръ?“ сказала лисица пѣтуху. „Да, отвѣчалъ пѣтухъ, вотъ и собаки наши бѣгутъ съ тою же вѣстью“ — ***).

„Кто мой—передъ норкой стой“, сказала старая мышь, когда остальные вздумали мириться съ котомъ****.)

„До поры у норы, а въ пору, такъ въ пору“, сказала мышь, когда у нея спросили, какъ она поживаетъ.

Изъ инверсіи въ баснѣ рождается другая форма, по мѣрѣ того, какъ усиливается перевѣсъ конечнаго изреченія, поставленнаго спереди, надъ остальнымъ разсказомъ, по мѣрѣ того, какъ этотъ разсказъ отходить въ даль; а это бываетъ тогда, когда онъ не ну-

*) Караджичъ послов., 31.

**) Случается богатый у бѣднаго постучится. Подумаешь, денегъ дастъ, анъ онъ его молотить зоветъ.

***) Карадж., 93.

****) Карадж., 141.

женъ, когда мы его легко можемъ воспроизвести. Такая форма превращается въ болѣе короткое изреченіе. Это болѣе короткое изреченіе и есть одна изъ формъ пословицы. Возьмемъ извѣстную басню Эзопа: Волъ съ плугомъ возвращается и т. д. (Волъ и муха).

Происходитъ инверсія: „Мы пахали!“ сказала муха, сидя у вола на рогахъ.

Затѣмъ рассказъ отпадаетъ, отбрасывается, какъ ненужное, и мы получаемъ одно выраженіе: „Мы пахали“, которое говоритъ достаточно, и которое мы примѣняемъ, какъ басню къ извѣстнымъ случаямъ въ жизни. Или вспомнимъ рассказъ о цыганѣ:—„Ори, мели, іжъ!“ сказалъ цыганъ о земледѣльческихъ работахъ. Мы оставляемъ эти слова цыгана, опускаемъ все остальное, и изъ этихъ трехъ словъ составляется пословица.

„Кому скромно, а намъ на здоровье“ *).

Выраженіе это ходитъ, какъ пословица. Происходитъ оно изъ слѣдующаго разсказа: Мышь спряталась въ нору, а котъ стоитъ у норы. Мышь говоритъ: „оскоромишься, котъ Евстафій“. А котъ отвѣчаетъ: не оскоромлюсь, мышь Настасья! Кому скромно, а мнѣ на здоровье!

„Если хочешь въѣрай, передайся къ намъ“ **).

Это выраженіе тоже ходитъ, какъ пословица. Не подлежитъ сомнѣнію, что это заключительная фраза какого нибудь діалога. Мы не можемъ сказать, кто

*) Даль, послов.. 150.

**) ib., 168.

именно такъ говорилъ, изъ какого частнаго образа возникла эта пословица. Такъ приглашать могъ къ себѣ человѣкъ, принадлежащій къ извѣстной сектѣ, такъ могъ сказать человѣкъ, приглашая пристать къ какой-нибудь партіи, преувеличивая ея достоинства и важность.

Здѣсь я сдѣлаю отступленіе: если мы возьмемъ такую форму какъ: „Кисель виноградъ, зубы терпнуть“, сказала лисица, когда не могла достать винограду— то мы увидимъ, что послѣдующій рассказъ, то, что слѣдуетъ за изреченіемъ, даетъ достаточное основаніе для начальнаго изреченія. Но существуетъ особый родъ басень, комическій. Комическая форма басень состоитъ въ томъ, что то, что слѣдуетъ за изреченіемъ, вмѣсто того, чтобы давать достаточное основаніе для изреченія, приведеннаго вначалѣ, даже до нѣкоторой степени противорѣчитъ ему. Такая форма очень любима. Между прочимъ одинъ изъ героевъ извѣстнаго романа Диккенса „Замогильныя записки Пиквикскаго клуба“, именно—Самуэль Уэллеръ (типъ лакея), весьма часто объясняется такимъ образомъ. Онъ недочистилъ сапогъ; горничная говоритъ ему: „№ 22-й требуетъ сапоги!“— „Скажите ему, сорока моя, что на все свой чередъ, какъ говаривалъ одинъ ученый, собираясь ити въ кабакъ“.

„Благодаримъ за ласку, любезнѣйшій, возразилъ Самуэль. Если мы сами станемъ себя чистить, не безпокою слугу, то это всѣмъ доставитъ удовольствіе, какъ выразился однажды школьный учитель, когда

молодые джентльмены не изъявили желанія быть высѣченными слугою“.—Я пособилъ Вамъ изловить этого каналью, распробестію, серъ, проваль его возьми! Въ одно ухо влѣзеть, въ другое вылѣзеть, какъ говорила моя тетка, когда сверчокъ забился ей въ ухо.—Стало быть, теперь можно повести рѣчь на счетъ того дѣла.....—Ведите, серъ, готовъ слушать васъ, серъ, какъ говорилъ одинъ ученикъ своему учителю, когда тотъ съѣздилъ его линейкой по головѣ.—Вотъ это, сударь мой, значить дѣйствовать по принятому правилу или по принципу, какъ говорилъ одинъ займодавецъ, когда бывало просили его возобновить отсрочку платежа“.

„Если служба, т. ск., поставила васъ на общественную стезю, выдвинула на публичную дорогу, такъ ужъ тутъ на каждомъ шагѣ окружены вы такимъ соблазномъ, о которыхъ и понятія не имѣетъ несвѣтскій человѣкъ“—сказалъ аристократическій лакей.—„Вотъ этакъ, бывало, точь въ точь говаривалъ мой старый дядя, когда началъ таскаться по трактирамъ“.

Эта форма знакома и нѣмецкому простонародью: *Aller Anfang ist schwer, sprach der Dieb, und stahl zuerst einen Amboss.*

Мы видѣли изъ приведеннаго выше, что извѣстная часть басни становится пословицей, благодаря тому, что остальная часть ея содержится въ мысли и готова явиться по нашему первому требованію въ поясненіе этого изреченія; но первая часть басни, существующая на лицо, остается безъ всякаго измѣненія.

Другой приѣмъ преобразованія басни въ пословицу состоитъ въ томъ, что не изреченіе, а все содержаніе басни дѣлается пословицей. Напр. „Кобыла съ волкомъ тягалась, только хвостъ да грива осталась“ или „онъ и долотомъ рыбу удить“.

Послѣдняя можетъ быть не всякому понятна. Дѣло въ томъ, что шайка воровъ согласилась ограбить простаковъ. Одинъ изъ нихъ сѣлъ на берегу рѣчки, навязалъ на удочку долото и спустилъ его въ воду. Подходитъ одинъ изъ тѣхъ, кого воры хотѣли обмануть и спрашиваетъ: „Чѣмъ ты рыбу ловишь?“ — „Долотомъ“. — „Развѣ можно долотомъ рыбу ловить?“ — „Какъ же, подожди, посмотри“. — Простакъ сталъ смотрѣть, а въ это время товарищи того, кто удилъ рыбу, очистили его возъ *).

„Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней“.

Это варіантъ басни. „Лягушка и Волъ“. Въ ней разсказывается, что ковали коня, а ракъ подставилъ свою клешню, чтобы и его подковали **).

„Безъ перевязи и вѣникъ разсыплется“ ***).

Это содержаніе извѣстной басни объ умирающемъ старикѣ и его сыновьяхъ.

„Собака на сѣнѣ лежитъ, сама не ѣстъ и другимъ не даетъ“.

Это—прямо содержаніе басни.

*) Сказки Манжуры, Ср. Даль, 150: Фомка (воръ) и на долото рыбу удить.

**) Ср. Карадж. Послов., 34; Манжура, Сказки.

***) Даль, Посл., 24.

Вы видите такимъ образомъ, что относительно длинный рассказъ все сжимается и сжимается, благодаря тому, что все остальное, необходимое для объясненія выраженія, склавшагося пословицей, содержится у насъ въ мысли и можетъ быть легко восстановлено.

Но въ то самое время, когда мы говоримъ: „Кисель виноградъ“, всего содержанія басни „Лисица и Виноградъ“ у насъ въ мысли нѣтъ, мы о ней не думаемъ. Это мы можемъ доказать себѣ непосредственнымъ наблюденіемъ. Гдѣ же она находится? Какъ назвать намъ то состояніе мысли, когда она готова стать мыслью, но не есть мысль? Безъ напоминанія другого лица вы можете припомнить эту басню, но въ данную минуту вы о ней не думаете: она находится *за порогомъ сознанія*.

Психологія есть наука слишкомъ новая, трудная, чтобы сказать что нибудь опредѣленное. Мы ограничиваемся терминами, словами, замѣняющими изслѣдованія. Мы говоримъ: область человѣческаго сознанія очень узка. То есть надо себѣ представить, что у насъ, говоря образно, въ головѣ существуетъ узенькая сцена, на которой всѣ дѣйствующія лица помѣщаются не могутъ, а взойдутъ, пройдутъ и сойдутъ. Вотъ эту маленькую сцену, которую точнѣе нельзя опредѣлить, и называютъ сознаніемъ; а все то, что не доходитъ до сознанія, а приближается до нѣкоторой степени къ нему, говорятъ находится за порогомъ сознанія. Говоря сцена, порогъ и т. д. мы прибѣгаемъ къ поэтической

формѣ мышленія. Мы довольствуемся этимъ переноснымъ выраженіемъ, потому что другого не можемъ найти для рѣшенія вопроса, представляющаго практическую важность.

Лекція 6-я.

Я началъ говорить прошлый разъ о поэтической формѣ, которую можно назвать сокращеніемъ басни, т. е. о пословицѣ.

Въ пословицѣ содержаніе басни можетъ быть представлено, какъ намекъ:

а) или такимъ способомъ, что отъ басни останется только одно конечное изреченіе, чему предшествуетъ объясненное прошлый разъ извращеніе порядка басни;

б) или такимъ образомъ, что все содержаніе басни составляетъ пословицу.

Точно также, какъ басня, можетъ быть сжать и всякій другой рассказъ, не относящійся спеціально къ этому роду поэтическихъ произведеній. Относительно формы, въ которой происходитъ это сжатіе, можно замѣтить, что или остается та же самая форма, которая была въ баснѣ или рассказѣ, т. е. *изображеніе конкретнаго событія*, отдѣльнаго случая, на примѣръ: „Повалился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сложить“. „Билъ цыганъ мать, чтобъ жена боялась“. Или дѣлается *обобщеніе такого случая*: напр., по отношенію къ первой пословицѣ, можетъ служить обобщеніемъ:

„До поры жбанъ воду носить“; по отношенію ко второй: „Кошку бьютъ, а невѣсткѣ замѣтку даютъ“.

Другой видъ сокращенія въ пословицу — сокращеніе не самаго образа басни, а вывода, обобщенія, житейскаго правила, добытаго при помощи этого образа, или при помощи второго образа въ двойной баснѣ. Для того, чтобы мы имѣли право сказать, что такое обобщеніе получено при помощи образа, заключеннаго въ баснѣ или другомъ поэтическомъ произведеніи: сказкѣ, романѣ, комедіи, нужно, чтобы въ самомъ обобщеніи оставался слѣдъ образа.

Въ противномъ случаѣ, т. е. если обобщеніе не будетъ заключать въ себѣ слѣда своего происхожденія отъ образа, мы получимъ другой видъ пословицы, именно — безобразное изреченіе нравственнаго содержанія вродѣ напр.: „На худо и дурака станетъ“. „Береги денежку про черный день и т. д.“ „На Бога надѣйся, а самъ не плошай“. — Эта пословица безобразная, а другая равносильная ей по значенію: „Богу молись, а къ берегу гребись“ — образная; и на основаніи того, что въ самомъ обобщеніи заключенъ образъ, мы говоримъ, что эта пословица непременно возникла изъ одной изъ такихъ басень, какъ напр. слѣдующая: Нѣкто тонулъ и взывалъ о помощи къ святому Николаю, заступнику плавающихъ. Явился святой Николай и говоритъ: „ты рукой махни, махни!“ *) Этому рассказу соотвѣтствуетъ древняя греческая басня про мужика, у котораго завязъ возъ и который сталъ

*) Карадж. 176.

взывать о помощи къ Гераклу. Явился Гераклъ и говорить: „ты сперва возьмись за спицы колеса, подгони воловъ, а тогда обращайся съ молитвой къ богамъ“. *) Такимъ образомъ изреченіе, которое также можетъ служить пословицей: „Счастье дороже ума (богатства)“, **) — безобразно. Въ обобщеніи же: „счастье лучше богатырства“, слово *богатырство* переноситъ насъ въ кругъ разсказовъ богатырскихъ. Эта пословица — простонародная, а не литературная.

Если бы сказать: „счастье дороже героизма“, тогда кругъ въ которомъ слѣдуетъ искать происхожденія этого образа, былъ бы великъ. Но выраженіе „лучше богатырства“ прямо направляетъ насъ на тотъ путь, по которому можно найти происхожденіе этого образа. Я думаю, что происхожденію этого образа послужило семейство сказокъ, вродѣ слѣдующей, существующей во многихъ вариантахъ: Өомка Беренниковъ съ трудомъ пахалъ свое поле. Взяло его горе, сѣлъ и давай бить мухъ и оводовъ. Убивъ 12 оводовъ и множество мухъ, Өомка испрашиваетъ благословеніе у матери и отправляется на богатырскіе подвиги. Ему подчиняются Илья Муромецъ, Алеша Поповичъ, принимая его по недоразумѣнію за богатыря. Ихъ подвиги, служатъ на пользу глупому Өомкѣ, который случайно убиваетъ богатыря и получаетъ руку царевны ***).

*) Басни Эзопа, перев. Алексѣева, 78 стр. изд. Суворина.; Babrius, 20.

**) Даль, посл. 42.

***) Аван. сказ. II, № 6; V, № 11; VI, № 13.

Такова, говоря техническимъ терминомъ, вѣроятная этимологія этой пословицы. Способность поэтическихъ произведеній сжиматься въ пословицу, или выдѣлять изъ себя пословицу (что не все равно), зависитъ не отъ одного ихъ достоинства, не отъ одной степени ихъ художественности, потому что, по вѣрному замѣчанію Буслаева, изъ русскихъ писателей Грибоедовъ и Крыловъ дали обществу нѣсколько пословицъ, между тѣмъ какъ Пушкинъ, превосходящій своимъ талантомъ многихъ, и ужъ навѣрное Крылова, не далъ ни одной *). Весь процессъ сжиманія болѣе длиннаго разсказа въ пословицу принадлежитъ къ числу явленій, имѣющихъ огромную важность для человѣческой мысли, можно сказать, характеризующій собою человѣческую мысль, сравнительно, на примѣръ съ мыслью животныхъ, насколько она доступна нашему наблюденію.

Я уже старался показать, говоря о баснѣ, что значеніе басни и другихъ поэтическихъ произведеній (для насъ въ этомъ отношеніи басня можетъ служить типомъ поэтическихъ произведеній) состоитъ именно въ томъ, что она служитъ отвѣтомъ на запросы, возникающіе по поводу отдѣльнаго сложнаго случая.

Басня и другія поэтическія произведенія разъясняютъ намъ этотъ частный случай, сводятъ множество разнообразныхъ чертъ, заключенныхъ въ немъ, къ небольшому количеству.

Тоже самое, только въ большей мѣрѣ, т. е. съ большей краткостью, дѣлаетъ пословица. Конечно, ус-

*) Ист. оч. I, 136; тамъ же см. пословицы изъ пѣсень о Маркѣ Кралевичѣ, 38 сл.

дуга этихъ поэтическихъ произведеній для мысли была бы лишь отрицательная, была бы вовсе не услугой, еслибы то разнообразіе чертъ, которое замѣнено поэтическимъ образомъ, исчезло изъ нашей памяти. Но на самомъ дѣлѣ такъ не бываетъ. Поэтическій образъ даетъ намъ только возможность замѣщать массу разнообразныхъ мыслей относительно небольшими умственными величинами.

Эти относительно небольшія умственные величины каждый разъ являются замѣстителями тѣхъ массъ мыслей, изъ которыхъ онѣ возникли, и которыя вокругъ нихъ группировались. Человѣкъ, располагающій сознательно значительнымъ количествомъ поэтическихъ образовъ, располагающій ими такъ, что они свободно приходятъ ему на мысль, тѣмъ самымъ будетъ имѣть въ своемъ распоряженіи огромныя мысленныя массы. Это можно сравнить съ тѣмъ, что дѣлаетъ алгебра по отношенію къ конкретнымъ величинамъ. Кто имѣетъ алгебраическое рѣшеніе задачи, или можетъ его получить, когда захочетъ, тотъ подставитъ подъ алгебраическими знаками опредѣленныя величины и получитъ нужное ему ариметическое рѣшеніе. Этотъ процессъ можно назвать процессомъ сгущенія мысли; онъ производится не только при помощи поэтическихъ произведеній, не ими одними, но между прочимъ и ими. Въ виду этого можно положительно сказать, что поэтическая дѣятельность (мысли) есть одинъ изъ главныхъ рычаговъ въ усложненіи человѣческой мысли и въ увеличеніи быстроты ея движенія. Передъ чело-

вѣкомъ находится міръ, съ одной стороны безконечный въ ширину, по пространству, а съ другой—безконечный въ глубину, безконечный по количеству наблюденій, которыя можно сдѣлать на самомъ ограниченномъ пространствѣ, вникая въ одинъ и тотъ же предметъ. Между тѣмъ то, что называютъ человѣческимъ сознаниемъ, то, что мы не можемъ себѣ иначе представить, какъ въ видѣ маленькой сцены, на которой по очереди появляются и сходятъ человѣческія мысли, крайне ограничено.

Единственный путь къ тому, чтобы объять мыслью возможно большее количество явленій и ихъ отношеній, состоитъ въ томъ, чтобы ускорить выходѣ на сцену и сходѣніе съ нея отдѣльныхъ мыслей. и затѣмъ усилить важность отдѣльныхъ мыслей, помѣщающихся на этой сценѣ. Искусство вообще, и въ частности поэзія, стремится свести разнообразныя явленія къ сравнительно небольшому количеству знаковъ или образовъ и имъ достигается увеличеніе важности умственныхъ комплексовъ, входящихъ въ наше сознаніе. Для кого поэтический образъ является средоточіемъ десяти, двадцати, тридцати отдѣльныхъ случаевъ и для кого эти отдѣльные случаи связались между собою и образовали отвлеченный выводъ, для того поэтический образъ содержательнѣе, многозначительнѣе, чѣмъ для того, которому онъ говоритъ только то, что заключено въ самомъ образѣ. Поэтому, употребляя то-же самое переносное выраженіе, *на сценѣ мысли* человѣка, для котораго поэтический образъ многозначенъ и полонъ

содержанія, этотъ поэтический образъ является представителемъ тысячи отдѣльныхъ мыслей; между тѣмъ какъ для другого тотъ же самый образъ является представителемъ только себя самого.

Въ теченіи моихъ чтеній, я имѣлъ въ виду, помѣрѣ возможности разяснить положеніе, что поэзія не есть нѣкоторая прикраса мысли, не есть нѣчто ненужное, чѣмъ можно пользоваться въ минуту досуга, а можно и не пользоваться. Напротивъ, поэзія есть одна изъ двухъ формъ познанія при помощи слова; а если это такъ, то поэтический образъ составляетъ и долженъ составлять для насъ не только предметъ наслажденія, не только такое явленіе, къ которому мы относимся страдательно, ожидая, чтобы насъ осѣнила благодать, исходящая изъ него.

Наслажденіе—наслажденіемъ, но если поэтическое мышленіе есть одно изъ средствъ познанія, то, стало быть, оно требуетъ извѣстнаго ухода, старанія, усилія. Наслажденіе дается, такъ сказать, даромъ; если его нѣтъ, то умышленно, усиліемъ вызвать его трудно. Но пониманіе берется усиліемъ, съ бою, и для того, чтобы пріобрѣсть нѣкоторую способность усиліемъ добиться пониманія, существуютъ нѣкоторые пріемы, которые можно назвать общимъ именемъ *критики*. Съ этимъ словомъ у насъ связано, по старой памяти, значеніе совершенно превратное, значеніе, которое связывали съ ними наши прабабушки и бабушки, говоря, что такой-то кавалеръ большой критиканъ (въ смыслѣ осужденія).

Критика есть, по буквальному смыслу этого слова, не болѣе не менѣе, какъ сужденіе.

Какъ же судимъ мы о поэтическомъ произведеніи, и въ чемъ заключается это сужденіе?

Если намъ данъ поэтическій образъ, то мы спрашиваемъ себя, во-первыхъ, каковъ тотъ кругъ идей, наблюденій, мыслей, замѣчаній, воспріятій, изъ котораго возникъ этотъ образъ. Онъ могъ возникнуть изъ непосредственныхъ наблюденій, онъ могъ возникнуть изъ преданія, т. е. при помощи другихъ образовъ.

Къ этому вопросу о происхожденіи образа, относится и другой вопросъ, именно, о степени удачности, вѣрности, съ которой въ поэтическомъ образѣ сохранены извѣстныя черты того круга мыслей, который лежитъ въ основаніи его.

Такимъ образомъ кругъ идей, лежащій въ основаніи пословицы: „счастье лучше богатырства“, будетъ преданіе, сказка, можетъ быть, цѣлый рядъ наблюденій автора, сдѣлавшагося неизвѣстнымъ. Стало быть, всѣ эти вопросы подводятся подъ вопросъ о происхожденіи даннаго поэтического образа.

Второй вопросъ, на какіе случаи служитъ отвѣтомъ поэтическій образъ, другими словами, съ чѣмъ изъ нашего личнаго опыта, изъ пережитаго и передуманнаго нами и изъ опыта другихъ, сравнимъ мы поэтическій образъ и какую пользу извлекаемъ мы изъ такого сравненія? Къ этой второй половинѣ изслѣдованія принадлежитъ то, что мы сами дѣлаемъ изъ такого сравненія.

Допустимъ, что поэтическій образъ есть А. На это А походятъ В, В, Г. Такимъ образомъ это А окружилъ рядъ подобныхъ, но неравныхъ ему случаевъ. Что мы сдѣлаемъ изъ этого круга данныхъ? Привели ли мы въ связь эти отдѣльные случаи, или они остались порознь. это уже наше дѣло.

Конечно, большею частью тѣ сравненія, которыя мы дѣлаемъ между поэтическимъ образомъ и отдѣльнымъ случаемъ изъ нашей или чужой жизни, дѣлаются помимо нашего усилія легко, и тогда художественное произведеніе доставляетъ намъ удовольствіе; но къ этой легкости, съ которой поэтическій образъ объясняетъ намъ то или другое, мы должны предварительно приготовиться. Кромѣ общаго развитія, такое приготовленіе состоитъ въ тщательномъ отношеніи къ поэтическому образу. Нужно понимать его буквально, затѣмъ пойдеть болѣе отдаленное пониманіе. Я обращаю вниманіе ваше на эти двѣ половины, на которыя распадается, по моему мнѣнію, все то, что мы можемъ назвать критикой по отношенію къ художественному произведенію. Эти двѣ половины составляютъ вопросы о происхожденіи образа и о примѣненіи его. Тѣ же два вопроса примѣняются не только къ сложнымъ поэтическимъ произведеніямъ, но и къ отдѣльнымъ словамъ.

То, что у насъ въ Россіи называлось особеннымъ достоинствомъ русской критики, именно, что она, на примѣръ, по поводу бородачей Островскаго, толковала не о самомъ художественномъ произведеніи, а о томъ, что существуетъ „темное царство“ въ Россіи, есть ея

односторонность. По поводу произведений Островскаго она вспомнила лицъ: А, В, В.... Самого поэтическаго образа она не касалась, она не говорила о происхожденіи его. Вопросъ о томъ, что значить для насъ извѣстный поэтическій образъ, что мы извлекаемъ изъ него, очень существенъ, но это есть половина дѣла.

Я не перечислялъ всѣхъ существенныхъ формъ пословицъ. До сихъ поръ была рѣчь о пословицахъ, возникшихъ изъ большихъ поэтическихъ произведений.

Если я говорилъ въ этомъ отношеніи только о баснѣ, то это для краткости. Извѣстно, что такимъ же образомъ можетъ давать пословицу не одна басня, а, напримѣръ, комедія, эпосъ, романъ. Рядомъ съ пословицей, возникшей изъ большого поэтическаго произведенія, при помощи преданія, съ пословицей, въ которой большое поэтическое произведеніе сжимается до одного періода, иногда до одного выраженія, во всякомъ случаѣ до одной синтаксической единицы, существуетъ особый родъ пословицы, болѣе или менѣе непосредственно коренящійся въ наблюденіи. Способъ возникновенія подобной пословицы вообще весьма поучителенъ при рѣшеніи вопроса о формахъ человѣческой мысли.

Конечно, всякое слово, выраженіе, всякая имѣющая смыслъ фраза есть извѣстный знакъ, извѣстный образъ нашей мысли, но не всякая фраза есть пословица, поэтическое произведеніе. Объ изреченіяхъ, которыя не заключаютъ въ себѣ поэтическаго образа. т. е.

о пословицѣ безобразной я не буду говорить, я говорю исключительно о пословицѣ, заключающей въ себѣ поэтическій образъ.

Обратите вниманіе, какимъ образомъ простѣйшее выраженіе отдѣльнаго случая становится пословицей. Вотъ, напримѣръ, наблюденіе, взятое изъ жизни: деревянная, шероховатая ложка, дѣйствительно, можетъ дѣлать заѣды. Изъ этого наблюденія образовалась пословица:

„Сухая ложка ротъ деретъ“.

Здѣсь вамъ образъ такъ ясенъ, что о происхожденіи его говорить нечего; но намъ надо остановиться на другой половинѣ вопроса: къ чему служить этотъ образъ, какіе данные случаи группируются вокругъ него? Если мы будемъ здѣсь обобщать только частные случаи изъ той же сферы, то мы пословицы не получимъ. Для того чтобы это выраженіе дѣйствительно стало пословицей, нужно взять случай, или рядъ случаевъ изъ другой сферы, нужно, чтобы частный образъ получилъ иносказательное значеніе; тогда онъ становится и поэтическимъ произведеніемъ и пословицей. Человѣкъ зажигаетъ дрова и говоритъ, что, „безъ поджога дрова не горятъ“. *) Когда онъ говоритъ это о дровахъ, то это пословицей не будетъ; если же это говорятъ въ томъ смыслѣ, что безъ коновода, зачинщика дѣло не спорится, или что безъ причины не бываетъ слѣдствія, тогда это становится пословицей.

*) Ср. Карадж., 112: једна палица ни пред царем негори.

Снѣгу нѣтъ, слѣду нѣтъ, т. е. на снѣгу особенно ясно отпечатывается слѣдъ. Это простое, мелкое наблюдение становится пословицей изъ числа наиболее глубокихъ: „не было снѣгу, не было слѣду“. Сербъ говоритъ нѣсколько яснѣе: „Не падаетъ снѣгъ, чтобы выморить свѣтъ, а чтобы всякій звѣрь свой слѣдъ показалъ“. *) Другими словами: пришла бѣда, тогда всякій звѣрь свой слѣдъ покажетъ, или на извѣстныхъ только случаяхъ испытываются люди, становятся только при извѣстныхъ обстоятельствахъ понятны. Вотъ еще прекрасная пословица, разъясненная Далемъ: „Изъ избы сору не выносить“. Примѣнимъ къ ней два приема, о которыхъ я говорилъ. Определить происхождение ея не трудно. Что это за совѣтъ: не выносить сора изъ избы? Это можетъ показаться глупымъ, неразумнымъ; но если взять во вниманіе среду и время, въ которыя возникла эта пословица, то она будетъ вѣрна. Почему сору не надо выносить? Во-первыхъ, потому, что въ рубленыхъ избахъ пороги бывають очень высоки, иногда въ полъ-аршина, такъ что безъ особенныхъ приспособленій дѣйствительно не возможно это сдѣлать. Во-вторыхъ, въ сору въ избѣ находятся остатки живущихъ въ ней людей, слѣдъ ихъ, а слѣдъ человѣка отдаетъ самого человѣка во власть другихъ. Это вѣрованіе коренится въ глубокой древности. У разныхъ народовъ земнаго шара существовало вѣрованіе, что изображеніе человѣка есть нѣкоторая таин-

*) Непада снијег да помори свијет, вел да свака звјерка свој траг покаже, Карадж. послов. 207.

ственная замѣна самого человѣка. Такъ въ одной Эклогѣ Виргилія любовница, для того, чтобы привлечь къ себѣ отсутствующаго любовника, чтобы привязать его къ себѣ, дѣлаетъ изображеніе его изъ воску, возить его вокругъ алтаря, приговаривая: „*ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnin*“ *) т. е. „мои заклинанія, приведите домой Дафниса“. То, что она совершаетъ надъ куклой, совершается, по ея мнѣнію, и надъ первообразомъ. **) Если человѣкъ ненавидѣлъ другого и хотѣлъ его смерти, то дѣлалъ изъ воску изображеніе врага, пронзалъ его сердце ножомъ, будучи увѣренъ, что одновременно пронзаетъ сердце живого человѣка, своего врага. Такое же значеніе имѣлъ для людей и слѣдъ человѣка, оставшійся на пескѣ. Для того, чтобы заставить человѣка полюбить, берутъ слѣдъ отъ его ноги, оставшійся на пескѣ, бросаютъ его въ раскаленную печь и говорятъ: „какъ говоритъ слѣдъ, такъ и сердце того-то пусть горитъ ко мнѣ“. Понятно, что при такомъ вѣрованіи было бы преступленіемъ выбрасывать соръ изъ избы; онъ сметался подъ лавку, а затѣмъ сжигался въ печи. До сихъ поръ изреченіе: „изъ избы сора не выносить“, не поэтическое произведеніе, а прозаическое житейское правило. При какихъ же условіяхъ оно становится поэтической пословицей?

Извѣстно, что когда невестка входитъ въ домъ своего мужа, она обязана смотрѣть за порядкомъ въ

*) Virg. Eclogae, VIII, 72.

**) *Limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit
Uno eodem igni, sic — nostro Daphnis amore, ib., 80.*

домѣ. Есть обрядъ, вскорѣ послѣ сватѣбы — пробный день: ее посылаютъ за водой. даютъ ей ведра и говорятъ иронически: „Мети избу, да не выметай сора, а мы соберемъ толоку, *) да разомъ и вывеземъ его“. Здѣсь это говорится въ переносномъ значеніи и значить: „не передавай того, что слышишь въ семьѣ, чужимъ; не отдавай интимной семейной жизни во власть постороннимъ, равнодушнымъ къ ней людямъ“.

Но какимъ образомъ отъ выметанія сора мысль перешла къ этому переносному значенію? какая связь между соромъ и измѣною семейнымъ тайнамъ?

Я думаю, что существовалъ извѣстный рядъ ассоціацій, который помогаль перейти отъ буквального значенія этого изреченія къ переносному. Ассоціаціей, сочетаніемъ мыслей, называется такая связь мыслей, въ силу которой, если вамъ пришло въ голову *А*, то вслѣдъ за тѣмъ вамъ приходитъ въ голову *В*, *С*, *Д*.... Чѣмъ неизбежнѣе вамъ по поводу *А*, приходитъ въ голову *В*, тѣмъ сильнѣе ассоціація. Напримѣръ, въ молитвѣ: „Отче нашъ“ первое слово ея вызоветъ остальные. Ассоціація отъ начала къ концу здѣсь сильнѣе, чѣмъ въ обратномъ порядкѣ. То, что мы называемъ оригинальностью мысли, во многихъ случаяхъ зависитъ отъ существованія въ человѣкѣ особеннаго рода ассоціацій мысли. Эта оригинальность во многихъ случаяхъ видимо зависитъ отъ предшествовавшаго рода занятія, работы мысли. Напримѣръ, если вся мысль

*) Такъ называется обычай у малороссовъ — приглашать для какой-нибудь работы сосѣдей, знакомыхъ и пр.

человѣка была устремлена на денежный заработокъ, то отъ всякой вещи онъ перейдетъ къ вопросу о цѣнѣ, вопросу о рублѣ, о деньгахъ; тогда какъ другая сторона вещи можетъ отъ него ускользнуть. Языкъ возникаетъ изъ ассоціацій подобнаго рода и наоборотъ даетъ начало новымъ ассоціаціямъ. Можно думать, что до превращенія иносказательнаго образа въ пословицу. случаются обстоятельства, облегчающія его. При переходѣ изреченія: „не выносить сору изъ избы“ въ пословицу, возможны были разныя ассоціаціи. То, что переносится изъ избы, есть рѣчь, а рѣчь есть шумъ, а слово шумъ имѣетъ двоякое значеніе: примѣръ: шумящая вода производитъ звукъ и пѣну, а пѣна есть соръ. Возможна и другая ассоціація, дающая другой результатъ. То, что выносится изъ избы: кляузы, сплетни и т. п. это въ нѣкоторомъ родѣ отброски, щепки. Въ избѣ дерево рубятъ, а внѣ избы щепки летятъ, т. е. соръ. Я встрѣтилъ въ Псковской лѣтописи такой примѣръ ассоціаціи: тамъ разсказывается, что жители разламывали свою городскую стѣну и *звукъ* выносили въ рѣку Великую. Здѣсь *звукъ* значитъ соръ, щебень. Мысль перешла не отъ слова шумъ къ сору, а наоборотъ отъ щебня, сора къ звуку. Подобныя ассоціаціи и облегчили переносное значеніе этого изреченія при переходѣ его въ пословицу.

Т. о. изреченіе съ прямымъ ближайшимъ значеніемъ, при переходѣ его въ пословицу, — поэтическое произведеніе становится *иносказательнымъ образомъ*. Говоря о баснѣ, я указывалъ на то, что одно изъ условій басни

состоить въ томъ, что она изображаетъ дѣйствіе или рядъ дѣйствій. Если же изображается не дѣйствіе, а предметъ, напр.: какъ древніе изображали сонъ въ видѣ юноши, покоющагося на постели, окруженнаго цвѣтами мака, то это будетъ *эмблема*, а не повѣствованіе, не басня, не рассказъ какого-нибудь другого рода.

То, что у насъ принято называть поговоркой (терминъ искусственно созданный людьми книжными) относится къ пословицѣ такъ, какъ эмблема къ баснѣ. Именно басня и пословица, какъ я говорилъ, служатъ отвѣтомъ на вопросъ, возбужденный житейскимъ случаемъ, который можетъ быть разложенъ на одно или нѣсколько дѣйствующихъ лицъ съ ихъ качествами, на одно или нѣсколько дѣйствій съ ихъ признаками. Такой случай можетъ быть запутанъ, неясенъ для тѣхъ, которые въ частности этотъ случай знаютъ. Вспомните, что было говорено о послахъ, которые явились къ Киру. Они не понимаютъ своихъ отношеній къ нему, и онъ объясняетъ ихъ баснею. Онъ могъ бы объяснить это и сжатой басней, т. е. пословицей; это было бы то же самое для понимающаго содержаніе ея. Поговорка точно такъ же, какъ и эмблема, есть поэтический т. е. иносказательный образъ, не сложнаго сцѣпленія лицъ и дѣйствій, а одного изъ элементовъ этого сцѣпленія, стало быть отдѣльно взятаго лица, качества, дѣйствія. Если это такъ, то поговорка есть элементъ басни, или пословицы, частью происшедшій изъ пословицы и басни, какъ остатокъ, сгущеніе ихъ,

частью недоразвившійся до нея. Напримѣръ, если мы по поводу извѣстнаго лица говоримъ: „это свинья подъ дубомъ“, точно также — „собака на сѣнѣ“, „волчій ротъ“, „лисій хвостъ“, „волкъ въ овчарнѣ“, „похилое дерево“, (последнее выраженіе ходитъ, какъ часть пословицы: „на похилое дерево козы скачутъ“), — это будутъ поговорки.

Есть цѣлый рядъ поговорокъ на вопросъ: какое у него состояніе? Напримѣръ: „У него мѣдной посуды — крестъ да пуговица, а рогатой скотины — тараканъ да жуковица“ или „Всея одежи двѣ рогожи, да куль праздничный“. На вопросъ, какъ глупъ? поговорка отвѣчаетъ: „Изъ за угла прибить“, „на цвѣту прибить“, „мѣшкомъ пришибленъ“. На вопросъ, какъ пьянъ? поговорочное выраженіе: „у него въ глазахъ двоится“. „лыка не вяжетъ“, „пьянъ, какъ ночь, какъ земля“ и т. д. Всѣ эти поговорки даютъ опредѣленный отвѣтъ на вопросъ: *каково* дѣйствующее лицо, какіе его признаки?

Вотъ нѣсколько примѣровъ поговорочныхъ выраженій для опредѣленія дѣйствія: „тянетъ лямку“ (т. е. живетъ съ трудомъ). Это будетъ поговорочное выраженіе, а не пословица. Если же сказать: „тяну лямку, пока не выроютъ ямку“, т. е. что вся жизнь проходитъ, какъ у бурлака, въ тяжелой работѣ до гроба, — это будетъ пословица образная.

Когда говорятъ: такому-то „везетъ“ т. е. удается все, то это поговорка; а если скажу „дураку счастье везетъ“, это пословица, которая возникла, безъ со-

мнѣнья, изъ круга сказокъ, въ которыхъ дураку все удаётся, т. е. что у дурака есть его двойникъ, счастье, доля, и что дѣлаетъ этотъ двойникъ, то дѣлается самимъ человѣкомъ; слѣдовательно, если у дурака есть доля, которая ему возить дрова, то ему самому дѣлать этого не нужно, дрова будутъ привезены.

Въ сказкахъ встрѣчаются и такіе случаи, что счастье дурака велитъ печи двинуться, и она, какъ паровикъ, везетъ его, куда онъ хочетъ. Мы говоримъ: „вотъ убилъ бобра“, это поговорка, и употребляется въ ироническомъ смыслѣ; она возникла изъ пословицы.

Извѣстно, что еще въ XVII вѣкѣ во всей Россіи и Малороссіи водились бобры, и ловля ихъ служила важнымъ источникомъ дохода; отсюда пословица: „не убить бобра, не видать добра“, т. е. его шкуры.

Когда кто-нибудь непосредственно скажетъ глупое слово, то говорятъ: „вотъ какъ съ печи“, т. е. какъ дурень, который сидѣлъ на печи, и отсюда изрѣдка говорилъ какую-нибудь глупость.

Выраженіе: „какъ съ дубу“ взято изъ слѣдующей сказки: „дурень взлѣзъ на дерево, скрываясь отъ разбойниковъ, и оттуда бросилъ въ нихъ ступу“. Нѣчто подобное этому выраженію — въ латинской поговоркѣ: „Deus ex machina“, съ той только разницею, что взято изъ театральной обстановки (у древнихъ боги являлись посредствомъ извѣстной машины для развязки драмы); у насъ выраженіе: „какъ съ дубу“ примѣняется къ неожиданному событію, сдѣланному сдуру. „Стать въ тупикъ“ переносное выраженіе, а въ буквальномъ смы-

слѣ слова „тупикъ“ — глухой переулочъ, или уголь, образуемый двумя плетнями. „Это мнѣ на руку“ значитъ согласно съ силой руки. „Это мнѣ не по нутру“, въ буквальному смыслѣ не по желудку пища.

Такимъ образомъ, сокращеніе или сгущеніе пословицъ приводитъ насъ къ отдѣльнымъ выраженіямъ: „на руку“, „понутру“, „въ тупикъ“, или къ одному слову: „сдуру“, „везетъ“.

Эти отдѣльныя выраженія остаются образными; а если принять образность, какъ неперемѣнное условіе поэтичности, то мы приходимъ къ тому, что отдѣльное слово, вроде „везетъ“ есть поэтическое произведеніе.

Огромная часть словъ, которыя мы употребляемъ безсознательно, для насъ — произведенія поэтическія, и по существеннымъ своимъ элементамъ нисколько не отличаются отъ другихъ большихъ произведеній: пословицъ, басенъ, драмъ, эпоей, романовъ. Разница будетъ состоять только въ степени сложности и во всемъ томъ, что зависитъ отъ сложности. Если это такъ, то выходитъ, что мы, сами не зная, частью по преданью, а частью независимо отъ преданія, употребляемъ поэтическое произведеніе, какъ нѣчто такое, безъ чего наша мысль совершенно невозможна. Каково отношеніе этихъ словъ къ словамъ, которыя не могутъ быть названы поэтическими произведеніями, это вопросъ другой. Я закончу примѣромъ, какъ поэтичность самая очевидная и ясная проявляется въ такомъ случаѣ, котораго мы не имѣемъ никакого основанія подвергнуть сомнѣнію. Я беру мѣсто изъ лѣтописи, подъ 1071 годомъ:

„Приложися къ отцемъ своимъ и дѣдомъ, отдавъ общій долгъ, его же нѣсть всякоумоу роженому убѣжати.... И слышавше братья преставленье его, печальни быша велми; и плакашеся по немъ вся земля Руская, не може забыти доблести его, и Чернии, Клобуци не могутъ забыти *приголубления* его (Мстислава)“. Ипат. лѣт. 414 стр. Образъ, заключенный въ словѣ *приголубить*, не требуетъ поясненія. Ср. съ этимъ названія цвѣтовъ: *голубой*, *вороной* и др. вродѣ: *осовѣтъ*, *проворонить*, *пѣтушиться* и проч.

Лекція 7-я.

Отъ поэтическаго произведенія, т. е. отъ басни, я дошелъ до слова отдѣльно взятаго. Дѣло въ томъ, что въ словѣ мы находимъ тѣ же самые элементы, которые встрѣчаются въ болѣе сложныхъ произведеніяхъ словесности. Если разсмотрѣніе болѣе сложныхъ словесныхъ произведеній даетъ намъ возможность понимать отдѣльно взятые слова, языкъ, независимо отъ того, что имъ выражается; то наоборотъ вниманіе къ простѣйшимъ, постоянно повторяющимся явленіямъ, такимъ, какъ слово, облегчаетъ пониманіе явленій болѣе сложныхъ. Только вниманіе къ тому, что происходитъ въ словѣ, языкѣ, даетъ мнѣ кажется, убѣдительныя доказательства положенія, которое я повторяю нѣсколько разъ, именно, что поэзія, или точнѣе говоря, поэтическое мышленіе, есть одна изъ двухъ равно необходимыхъ формъ мысли въ словѣ, т. е. такой мысли, которая требуетъ для своего обнаруженія возникновенія слова. Я привелъ уже нѣсколько примѣровъ того, что отдѣльно взятое слово во всѣхъ отношеніяхъ можно разсматривать, какъ поэтическое произведеніе. Языкъ представляетъ безчисленное множество подобныхъ примѣровъ и можно затрудняться не тѣмъ, чтобы найти

подобные примѣры, а тѣмъ, чтобы выбрать примѣръ болѣе ясный, подходящий, требующій для своего пониманія менѣе предварительныхъ свѣдѣній.

Отношеніе говорящаго къ употребляемымъ словамъ двоякое. Къ значительной части этихъ словъ говорящій относится почти такъ, какъ ребенокъ или какъ иностранецъ, который впервые знакомится со звуками и значеніемъ слова. Мы говоримъ ребенку или иностранцу, указывая на вещи или ихъ изображенія: это домъ, столъ, лѣсъ и т. д., причемъ вопросъ о томъ, — почему столъ называется столомъ, а не домомъ, если и возникаетъ, остается безъ отвѣта.

Исслѣдованіе языка въ тысячѣ случаевъ показываетъ, что такое состояніе слова, т. е. когда мы не знаемъ почему, какой примѣтой, какимъ признакомъ обозначено въ данномъ словѣ извѣстное значеніе, что такому состоянію слова всегда предшествуетъ другое, о которомъ я и намѣренъ сказать нѣсколько словъ. Въ этомъ другомъ предшествующемъ состояніи слова мы и усматриваемъ всѣ тѣ составныя части, которыя находимъ въ поэтическихъ произведеніяхъ. Каждое слово, насколько простирается нами опытъ, непременно проходитъ черезъ то состояніе, въ которомъ это слово есть поэтическое произведеніе. Для примѣра я возьму нѣсколько названій растеній съ тѣмъ, чтобы показать, насколько примѣнимъ къ этимъ названіямъ одинъ изъ двухъ вопросовъ, на которые, какъ я старался показать прежде, распадается критика, именно вопросъ о происхожденіи, вопросъ объ этимологіи. Примѣненіе

его даетъ намъ возможность усмотрѣть разумный смыслъ тамъ, гдѣ на первый взглядъ имѣется, повидимому, одна безпричинность.

Есть растеніе, растущее въ влажныхъ, тѣнистыхъ мѣстахъ съ латинскимъ названіемъ *Tussilago farfara*. *) Народное названіе — „мать и мачеха“. Есть возможность показать, что употребленіе этого названія, т. е. такое состояніе слова, когда значеніе его непосредственно примыкаетъ къ звуку и когда признаки, обозначающіе значеніе его не ясны, что такое состояніе есть позднѣйшее въ этомъ словѣ. Для этого надо начать нѣсколько издалека, такъ что, пожалуй, не будетъ видно, къ чему идетъ рѣчь. Весьма понятно, что такое сложное явленіе, какъ любовь и нелюбовь, ненависть, не можетъ быть воспринято непосредственно. Мы и въ настоящее время не въ состояніи указать научно составныхъ частей этого явленія съ тою точностью, съ которой было бы желательно. Тѣмъ болѣе это примѣняется къ первобытному человѣку. Въ языкѣ остается слѣдъ того, что человѣкъ обозначилъ любовь тепломъ, напримѣръ — тепломъ согрѣвающаго солнца, а не любовь, ненависть — холодомъ. Такого рода представленія оставили многочисленные слѣды въ народной поэзіи и въ языкѣ. *Остуда* (старинное слово) нелюбовь, ненависть, значитъ почти тоже, что *простуда* т. е. дѣйствіе холода, только предлогъ здѣсь другой. Родъ болѣзни, называющійся по-малорусски *остудой*, которая состоитъ въ томъ, что мѣстами кожа

*) О нѣкоторыхъ символахъ..., А. Потебни, 34 стр.

окрашивается въ темный цвѣтъ, можно думать, называется такъ потому, что происхожденіе этой болѣзни приписывалось недоброму, враждебному взгляду или чувству. Въ основаніи великорусскаго слова *постылый* лежитъ тотъ же самый взглядъ. Мѣстами прямо *холодный* (по-малорусски), т. е. *студеный*, примѣняется къ человѣку, который не любитъ. Въ малороссійской пѣснѣ мать даетъ сыну совѣтъ не жениться на вдовѣ, а жениться на дѣвушкѣ, потому что у вдовы сердце, какъ зимнее солнце, хотя и ясно свѣтитъ, да холодный вѣтеръ вѣетъ.....

Такимъ образомъ обозначается любовь матери и нелюбовь мачехи. Родная мать любитъ, какъ лѣтнее солнце грѣетъ, а мачеха не любитъ — холодна, какъ зимнее солнце, какъ зима. Это именно воззрѣніе легло въ основаніе названія того растенія, о которомъ я говорю. Особенность его, раздѣляемая со многими другими растеніями, состоитъ въ томъ, что верхняя поверхность листьевъ его блестящая и *холодная*, а нижняя незеленая и бѣловатая. мягкая, *теплая*, какъ бы покрыта бѣлой паутиной. Такимъ образомъ растеніе является и „матерью“ и „мачехой“.

Слѣдовательно, процессъ мысли, въ названіи этого растенія—таковъ: данъ прежній запасъ мысли, состоящій въ представленіи любви тепломъ и нелюбви холодомъ. Родная мать—тепло, т. е. любящая, мачеха—холодна, т. е. нелюбящая.

Между прежнимъ запасомъ мысли и новымъ явленіемъ, которое требуетъ объясненія, устанавливается

сравненіе. Растеніе „мать и мачеха“ есть для мысли человѣка, назвавшаго его такъ, нѣчто сходное съ отношеніями матери и мачехи къ дѣтямъ. Новое значеніе, т. е. различныя впечатлѣнія, полученныя разновременно отъ этого растенія, изображены въ этомъ названіи, какъ мать и мачеха, какъ холодъ и тепло. Иначе мы можемъ сказать, что „мать и мачеха“ со стороны любви (тепла) и нелюбви (холода) есть *образъ* по отношенію *къ значенію*, т. е. ботаническимъ признакамъ этого растенія. Другое растеніе — *Viola tricolor*. Цвѣтокъ его состоитъ изъ пяти лепестковъ: двухъ — одного цвѣта, именно лиловаго, и трехъ — желтаго. Такимъ образомъ цвѣтокъ представляетъ собою извѣстную двойственность. Поэтому растеніе называется по малороссійски „Полуцвітокъ“, другое названіе „Ивань да Марья“, по польски *bratku* т. е. братъ и сестра. Образъ, взятый для обозначенія значенія въ этомъ словѣ, сохраняется въ разныхъ народныхъ произведеніяхъ, между прочимъ и въ пѣсняхъ. Нѣкоторыя изъ этихъ пѣсень относятся къ сказаніямъ о кровосмѣшеніи, частью угрожающемъ, частью совершившемся. Объ этомъ нѣкоторыя сказанія рассказываютъ такъ: проѣзжій находитъ въ корчмѣ дѣвицу, которая оказывается сестрой его; не зная этого, онъ женится на ней, а потомъ, узнавши другъ друга, по однимъ сказаніямъ они расходятся, идутъ въ монастырь, по другимъ превращаются въ растеніе, именно въ этотъ цвѣтокъ.

Растеніе съ латинскимъ названіемъ *Lychnis Flos cusculi*, съ липкимъ стебелькомъ, съ бѣлымъ цвѣткомъ.

Другое сродное (*Lychnis Viscaria*) называется „смѣлкой“ именно потому, что на стеблѣ его выступает смола. Великорусское названіе перваго — „дрема“. Я не думаю, чтобы это названіе было основано на какомъ-нибудь медицинскомъ свойствѣ этого растенія, скорѣе надо предположить, что основаніемъ ему послужило сказаніе въ родѣ находящагося въ лѣтописи, которую приписываютъ Нестору *) Въ Печерскомъ монастырѣ замѣчено было, что во время всеошннаго бдѣнія многіе монахи чувствовали сильную склонность ко сну и уходили изъ церкви. Одинъ прозорливый старецъ увидѣлъ, что это дѣлается не безъ причины и что бѣсъ въ образѣ ляха въ золоченной одеждѣ ходитъ по церкви и бросаетъ изъ-за пазухи цвѣтокъ, который въ лѣтописи называется „*мпожъ*“: къ кому пристаётъ этотъ цвѣтокъ, тотъ чувствуетъ позывъ ко сну и уходитъ изъ церкви, а къ тому, кто напряженной молитвой отклоняетъ это искушеніе, цвѣтокъ не пристаётъ. Изъ подобнаго рода сказаній и могло произойти названіе этого растенія — „дрема“.

Существуетъ такое выраженіе, имѣющее реальное основаніе, что „сонъ голову клонить“. Самое это выраженіе, конечно, ближайшимъ образомъ значить, что сонъ, т. е. нѣкоторое миеологическое существо наклоняетъ человѣку голову; но замѣчено во многихъ случаяхъ, что миеическія личности по миеическому возрѣнію сами совершаютъ тѣ дѣйствія, для объясненія которыхъ онѣ должны служить т. е. примѣрно „если ни-

*) Ил., 134, подъ 1074 годомъ.

щій сидить на мосту съ чашкой, то это значить, что и его доля-сидить на мосту съ чашкой“, оттого онъ и самъ сидить. Такимъ образомъ выраженіе: „сонъ голову клонить“, съ большею вѣроятностью можно объяснить представленіемъ самого сна, какъ мимическаго существа, которое склоняетъ свою голову. Какъ бы то ни было, а такое выраженіе, или такой образъ даетъ возможность опредѣлить значеніе названія извѣстнаго растенія: „Сонъ—травя“. Латинское названіе его *Aenone pulsatilla*. Это одинъ изъ раннихъ весеннихъ цвѣтовъ; особенность его та, что стебелекъ его у самаго вѣнчика круто загибается внизъ, такъ что головка цвѣтка наклонена книзу.

Можетъ быть потому, что пѣсня сблизила между собою слова: стлаться (стелются) и слаться—(плотся); можетъ быть и по другимъ основаніямъ, но существуетъ пѣсенное выраженіе такого рода: „Ой черезъ межу горошокъ та постелился; козакъ до дивчины ворогами та поклонился“ (если козакъ поклонился хотя и черезъ чужихъ людей, черезъ вороговъ. то значить въ основаніи этого лежало извѣстнаго рода чувство). Стлаться означаетъ здѣсь не только постилаться, но и слать посольство съ какой-нибудь вѣстью.

Такая пѣсенная форма, въ которой первая половина заключаетъ образъ изъ внѣшней природы, а вторая изъ области человѣческихъ отношеній, и въ которой между обѣими половинами существуетъ соотвѣтствіе, называется пѣсеннымъ параллелизмомъ. Есть другія мѣста, изъ которыхъ видно, что *витья*, т. е. все таки

стлаться, говоря о полевомъ *чгга*) называется *чгга*. *чгга* является образомъ сватанья, женитьбы. Есть цѣлая игра *чгга* съ *чгга* изображающая, какъ вѣтся горохъ, одинъ конѣ думать хоровода проходить подъ руками остальныхъ, вѣтся до тѣхъ поръ, пока не станетъ въ началѣ хоровода. При этомъ поютъ: „вейся горошекъ въ четыре ряда, чтобы всѣ парубки женились“. Можетъ быть эти справки недостаточно полны, но все таки достаточны для того, чтобы объяснить названіе лѣсного горошка: „Люби мене не покинь“. именно тѣмъ, что онъ стелется. Мы имѣемъ цѣлый рядъ растеній съ подобными названіями: „Люби мене“, „не забудь мене“, „Незабудка“, „Любистокъ“. Причины этихъ названій различны. Напр. въ словѣ *Любистокъ*, причина этого названія чистая ошибка, недоразумѣніе. Это растеніе называется по латыни (съ греческаго) *Levisticum*. Нѣмцами это названіе было понято, какъ нѣчто имѣющее отношеніе къ слову „*Liebe*“, они назвали его *Liebesföckel*. Можетъ быть, подъ вліяніемъ нѣмецкаго названія возникло и русское *Любистокъ*. Изъ этого названія выведено, что настой этого растенія дѣйствуетъ, какъ приворотное зелье, что онъ заставляетъ любить.

Во многихъ случаяхъ мы неполнѣ можемъ быть убѣждены, что тотъ рассказъ или та пѣсня, которая прилагается къ объясненію названія извѣстнаго растенія не возникла подъ вліяніемъ самого названія растенія, т. е. можетъ случиться такъ, что не сказаніе, не пѣсня, не обычай, не употребленіе растенія объясняетъ названіе его, а наоборотъ само названіе даетъ поводъ

той связи и известному сказанію, что мы видимъ въ названіи
 и его лат. *Амбистокъ*. Такимъ образомъ известно еще по даннымъ
 ч. слав. XVI вѣка, что одно изъ растений, которому приписы-
 валось какое-то священное значеніе въ праздникъ на-
 канунѣ Ивана Купала (23 Іюня), есть *Чернобыльникъ*,
 по латыни *Artemisia vulgaris*. Около этого времени
 бываетъ поворотъ солнца на зиму. Есть основаніе ду-
 мать, что въ этотъ день враги божества солнца осо-
 бенно сильны и опасны, и что люди, сочувствующие
 этому божеству, въ этотъ праздникъ поступали прибли-
 зительно такъ, какъ во многихъ странахъ поступаютъ
 дикари и теперь во время затменія солнца и луны. По
 распространенному мифологическому взгляду затменіе
 солнца происходитъ отъ того, что враждебныя суще-
 ства, собаки, змѣи пожираютъ солнце. И вотъ люди,
 чтобы спасти его и помѣшать этимъ врагамъ съѣсть
 его, производятъ шумъ оружіемъ. бьютъ въ барабаны
 и т. п. Возможно, что и у насъ въ этотъ день люди
 помогали солнцу такимъ образомъ и что участвующие
 въ играхъ опоясывались чернобыльникомъ, потому что
 это растеніе враждебно, ненавистно врагамъ солнца.
 Есть основаніе думать, что такое значеніе этого рас-
 тенія одинаково съ значеніемъ полыня и всѣхъ горь-
 кихъ растеній, которыя являются спасительными отъ
 всѣхъ человѣку ненавистныхъ существъ, можетъ быть,
 и змѣй. Теперь, если мы встрѣчаемъ названіе этого рас-
 тенія *забудьками* и если рядомъ съ этимъ названіемъ
 встрѣчаемъ рассказъ, въ которомъ участвуютъ змѣи, то
 можно предполагать, что по поводу этого рассказа мог-

до возникнуть это названіе. Есть разсказъ о томъ, какъ дѣвушка попала къ змѣямъ и получила отъ нихъ даръ понимать языкъ растений, подѣ условіемъ не произносить слова *Чернобыльникъ*. Возвращаясь домой дѣвушка слышала и понимала говоръ травъ, но вдругъ кто-то изъ-за спины показалъ ей чернобыльникъ и спросилъ: „что это такое?“ Она отвѣтила: „чернобыльникъ“, и мгновенно перестала понимать говоръ растений *). По этому поводу чернобыльникъ называется *забудка*. Желтая лилія обыкновенно называется „Чоловічій вікъ“ на томъ основаніи, что разъ посаженная она дѣйствительно можетъ расти средній человѣческой вѣкъ т. е. лѣтъ 30 и больше. „Не чуй вѣтеръ“—это маленькое растеніе, которое растетъ такъ низко при самой землѣ, что не чувствуетъ вѣтра.

Изъ цѣлой массы подобныхъ названій, я взялъ на удачу названія растений. Подобнымъ образомъ можно взять другой разрядъ словъ и показать, что каждый разъ, когда намъ удастся проникнуть въ прошедшее слова, объяснить его этимологию, мы узнаемъ, что извѣстное значеніе, прежде чѣмъ стало примыкать къ звуку непосредственно, было представлено извѣстнымъ признакомъ, взятымъ изъ круга мыслей. предшествующихъ возникновенію самого слова. Всякое удачное этимологическое изсѣдованіе приводитъ насъ къ открытію, что за значеніемъ извѣстнаго слова лежитъ представленіе, образъ. Есть слова съ потеряннымъ представленіемъ, относительно которыхъ мы не можемъ

*) Запис. Югз. Отд., 112.

сказать, что они значать, напр. слово *домъ*. Если мы скажемъ, что корень въ немъ тотъ самый, что въ лат. *domare* (приручать), то скажемъ этимъ очень мало. Дѣло въ томъ, что самый глаголъ этотъ — производный. Мы не знаемъ, по какимъ признакамъ возникло слово *домъ*. Но если изъ этого слова сдѣлать новое слово, то для этого новаго значенія изъ прежняго значенія будетъ взято представленіе, образъ. Напр. если сказать, что такой-то юристъ до такой степени познакомился съ извѣстнымъ юридическимъ дѣломъ, что онъ въ немъ *дома*, то здѣсь изъ значенія слова *домъ* для новаго значенія взять одинъ только признакъ, именно, что извѣстное лицо чувствуетъ себя въ этомъ юридическомъ дѣлѣ такъ по себѣ, какъ чувствуетъ себя въ своемъ домѣ. Здѣсь слово съ новымъ значеніемъ становится опять поэтическимъ произведеніемъ. На основаніи такого опыта, мы можемъ сказать вообще, что первоначально, во время своего возникновенія, всякое слово безъ исключенія состоитъ изъ трехъ элементовъ: во-первыхъ, членораздѣльнаго звука, безъ котораго слово быть не можетъ; во-вторыхъ, представленія, и въ третьихъ, значенія слова. Звукъ и значеніе навсегда остаются непремѣнными частями слова. Безъ одного изъ этихъ элементовъ нѣтъ слова. Безсмысленный звукъ не есть слово, и наоборотъ, значеніе несопровожаемое членораздѣльнымъ звукомъ, не есть слово; но третій элементъ слова, то, что мы называемъ представленіемъ, съ теченіемъ времени исчезаетъ. Его исчезновеніе и даетъ намъ второй видъ существованія слова. Этотъ второй видъ безъ представленія, или съ

потеряннымъ представленіемъ и соотвѣтствуетъ второй формѣ словесной мысли, именно формѣ прозаической. Почему именно теряется представленіе, на этомъ я долго не буду останавливаться; укажу только на одну причину. Если я занимаюсь ботаническимъ изслѣдованіемъ растенія „мать и мачеха“, найду въ немъ 20 — 30 признаковъ, изъ которыхъ нѣкоторые болѣе существенные, чѣмъ тотъ, что поверхности листка этого растенія различаются тѣмъ, что одна холодная, а другая теплая, то для меня нѣтъ никакого основанія удерживать въ памяти причину обозначенія этого растенія именно по этому признаку. Стало быть, я буду удерживать это представленіе до тѣхъ поръ, пока оно само держится въ памяти. Если съ теченіемъ времени какой-нибудь измѣненный звукъ затемнитъ связь этого представленія со словомъ, то и самое представленіе исчезнетъ совсѣмъ. Такимъ образомъ причина превращенія поэтическаго слова въ прозаическое или слова съ представленіемъ (въ которомъ есть сравненіе), въ слово безъ представленія, заключается въ расширенія значенія слова; а самое расширеніе значенія происходитъ при помощи поэтической формы. Эта постоянная смѣна поэтическаго и прозаическаго мышленія идетъ безъ конца и назадъ и впередъ. Стало быть (если все это вѣрно), чисто по-дѣтски разсуждаютъ тѣ, которые на основаніи того, что имъ покажется, что извѣстнаго рода поэтическія произведенія менѣе употребляются въ настоящее время, чѣмъ другія, говорятъ, что поэзія въ настоящее время падаетъ, и при этомъ прибавляютъ, что такъ она и должна и будетъ про-

должать падать, что мысль современного челоѣка переросла поэтическія формы и т. д. То наблюденіе надъ отдѣльными словами, которое мы сейчасъ сдѣлали, говоритъ намъ, что ежеминутно мы нуждаемся въ поэтической формѣ, именно потому, что у насъ въ языкѣ постоянно происходитъ мѣлкое, но въ результатѣ могучее превращеніе поэтическихъ формъ въ прозаическія и наоборотъ возникаютъ новыя поэтическія формы изъ прозаическихъ. Для созданія мысли научной поэзія необходима; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы эта необходимость одинаково чувствовалась и говорящимъ и слушающимъ. Весьма возможенъ и такой случай, когда слушающій требуетъ прозаическаго отвѣта, т. е. отвѣта, состоящаго въ разложеніи извѣстнаго предмета на его признаки, а говорящій вмѣсто такого разложенія преподноситъ ему сравненіе, т. е. говоритъ языкомъ поэтическимъ. Конечно, для говорящаго существуетъ необходимость говорить такъ или иначе; гдѣ не достаетъ понятія научнаго, тамъ появляется образъ, слово. Подобнаго рода поэтическіе отвѣты, необходимость говорить поэтически, проявляется и у людей, стоящихъ на высокой степени научнаго развитія. Гдѣ не достаетъ точнаго понятія, тамъ выступаетъ на сцену поэтической образъ. На вопросъ, что такое поэзія, я старался дать сухой прозаическій отвѣтъ, опредѣляя её, какъ особый родъ дѣятельности челоѣческой мысли. Бѣлинскій, которому нельзя отказать въ способности философски мыслить, отвѣчаетъ на тотъ же вопросъ поэтически. (см. VIII т. II. С. С.).

Лекція 8-я.

Всѣ свойства поэтическаго произведенія находятъ соотвѣтствіе въ свойствахъ слова. Такъ, между прочимъ, то значеніе, которое слово имѣетъ для самого говорящаго и для слушающаго, соотвѣтствуетъ подобному значенію поэтическаго произведенія. О значеніи слова для говорящаго и для слушающаго существуютъ ходячія, довольно ошибочныя представленія. Существуетъ общераспространенное мнѣніе, что слово нужно *для того, чтобы* выразить мысль и *передать ее другому*. Но развѣ мысль передается другому? Какимъ образомъ мысль можетъ быть передана другому? Мысль есть нѣчто, совершающееся внутри мыслящаго человѣка. Какъ же передать то, что совершается внутри человѣка, другому? Развѣ можно это взять, выложить изъ своей головы и переложить въ голову другого? Для того чтобы понять, неполнѣе разумѣется, но приблизительно, что происходитъ при такъ называемой передачѣ мысли, нужно обратить вниманіе на то, нужно ли прежде всего слово для передачи мысли? Мыслимъ ли мы только словами, дѣйствительно ли у насъ до слова не происходитъ никакой мысли? Заключается ли въ словѣ вся сумма мысли, возможная для человѣка?

Кромѣ того, что связано со словомъ, существуетъ еще мысль. Развѣ то, что выражается въ музыкальныхъ тонахъ, въ графическихкихъ формахъ, въ краскахъ, не есть мысль? Если бы человѣческой мыслью было только то, что связано со словомъ, то можно было бы допустить, что глухонѣмые стоятъ внѣ человѣческой мысли. И такъ, во всякомъ случаѣ, внѣ слова и до слова существуетъ мысль; слово только обозначаетъ извѣстное теченіе въ развитіи мысли. Но является вопросъ, выражаетъ ли слово готовую мысль для самого говорящаго и, если оно выражаетъ готовую мысль, передается ли она другому? Во всякомъ случаѣ это явленіе въ высшей степени таинственное. Человѣческая личность есть нѣчто замкнутое, недоступное для другого. Какимъ же образомъ то, что происходитъ въ одной личности, можетъ быть передано другому и точно ли это передается другому? На это даетъ отвѣтъ человѣкъ, который положилъ основаніе языкознанію въ нашемъ вѣкѣ. Это — братъ извѣстнаго Александра Гумбольдта, филологъ Вильгельмъ Гумбольдтъ. Между прочимъ онъ отвѣчаетъ на это изреченіемъ, которое имѣетъ видъ парадокса, хотя въ дѣйствительности выражаетъ собою совершенно вѣрную мысль; въ извѣстномъ смыслѣ, въ какомъ обыкновенно понимается передача мысли, пониманіе совершенно невозможно: „*всякое пониманіе есть непониманіе*“. Возьмемъ, на примѣръ, слово *столъ*. Значеніе этого слова для меня есть совокупность всѣхъ признаковъ стола; эти признаки состоятъ изъ совокупности тѣхъ впечатлѣній, которыя я получилъ отъ столовъ,

видѣнныхъ мною, стало быть, изъ впечатлѣній моего зрѣнія и осязанія. Строеніе моихъ глазъ, хотя и сходно съ строеніемъ глазъ другихъ, все таки такъ различно, что впечатлѣнія моего зрѣнія не будутъ равны другимъ. Мои впечатлѣнія вполне индивидуальны, принадлежать мнѣ одному. Но значеніе слова состоитъ не только изъ впечатлѣній нашихъ чувствъ, но и изъ воспоминаній нашихъ. Воспоминанія наши будутъ различны, смотря по тому, какія будутъ наши прежнія впечатлѣнія. Я, напр., видѣлъ столы а, b, c, а вы — d, f, e; въ воспоминаніяхъ нашихъ будетъ извѣстный порядокъ; я видѣлъ сначала красные, потомъ бѣлые, или наоборотъ; суммарныя впечатлѣнія будутъ различны. Почему это такъ, на это отвѣтить трудно; но убѣдиться, что это такъ, лучше всего на опытѣ. Напр., не все равно, увидѣть тотъ же самый предметъ утромъ, а потомъ вечеромъ, потому что его видишь при различномъ настроеніи, слѣдовательно, и комбинаціи этихъ впечатлѣній получаютъ различныя. Если сумма нашихъ мыслей связана со словомъ, то въ результатѣ получится, что содержаніе слова у меня и у другого совершенно различно. Если я говорю *столъ*, и если вы меня понимаете настолько, что сами будете думать о столѣ, то результатъ у меня и у васъ будетъ совершенно различенъ, потому что сумма впечатлѣній въ моей мысли и по качеству и по количеству различна отъ вашихъ. Несомнѣнно то, что мы производимъ другъ въ другѣ аналогичныя движенія, колебаніе, дрожаніе мысли такими средствами, какъ языкъ, музыкальный звукъ, графическій

образъ и т. д. Въ понимающемъ происходитъ нѣчто по процессу, т. е. по ходу, а не по результату сходное съ тѣмъ, что происходитъ въ самомъ говорящемъ.

Когда создается слово, тогда въ говорящемъ происходитъ извѣстное измѣненіе того состоянія мысли, которое существовало до созданія. Что такое созданіе? Мы не можемъ себѣ представить созданія изъ ничего. Все то, что человѣкъ дѣлаетъ, есть преобразование существующаго. Точно также и созданіе мысли есть извѣстнаго рода преобразование ея. Какого рода преобразование происходитъ при созданіи слова, на это отчасти было уже указано мною.

Представимъ себѣ, что мы находимся при созданіи нѣкоторыхъ древнихъ словъ, потерявшихъ въ настоящее время слѣды своего происхожденія. Мы можемъ себѣ это представить, благодаря извѣстному процессу изслѣдованія, которое называется этимологіею; напр., найдено, что наше слово *рука* находится въ родствѣ съ глаголомъ литовскимъ, который значитъ собирать. Основная форма слова *рука* есть *ранка*, въ литовскомъ яз. существуетъ глаголъ *ринкти* (собирать). Человѣка поражаетъ нѣчто, чего онъ еще не называетъ; онъ спрашиваетъ себя, что это такое? Такъ, по-гречески слово *рука* ($\chi\epsilon\iota\rho$) значитъ *берущая*. Латинское слово *sevus* значитъ олень (лат. с произносилось, какъ *к-кервусъ*). За исключеніемъ окончанія это слово заключаетъ въ себѣ тѣ же звуки, что наше славянское—*крава*, корова. Найдено, что лат. *sevus* и наше *корова*, отличающееся отъ него только по окончанію,

значить *рогатый*. Въ каждомъ словѣ, за исключеніемъ первыхъ словъ языка, до которыхъ изслѣдованіе не доходитъ, дѣйствіе мысли состоитъ въ сравненіи двухъ мысленныхъ комплексовъ, двухъ мысленныхъ массъ, одной вновь познаваемой, которая составляетъ вопросъ, и которую назовемъ такъ, какъ математическую неизвѣстную величину x , и прежде познанной, т. е. той, которая составляла уже готовый запасъ мысли въ то время, когда возникъ вопросъ: что это такое?—и которую назовемъ A . Въ приведенномъ примѣрѣ, *рогатое животное*, и вновь познаваемое и прежде познанное заключало въ себѣ большое количество самыхъ разнообразныхъ признаковъ. Когда x было сравнено съ коечѣмъ изъ A , тогда появилась между ними общая точка: то общее, что появлялось между вновь познаваемымъ и прежде познаннымъ въ настоящемъ примѣрѣ и было *рогатый*. Уже въ мысли человѣка былъ запасъ свѣдѣній о рогатомъ животномъ, когда онъ узналъ корову. Это общее между вновь познаваемымъ и прежде познаннымъ называется по латыни *tertium comparationis*, т. е. третье сравненія, третья величина при двухъ сравниваемыхъ. Самый процессъ познанія есть процессъ сравненія. Названные комплексы мысли раздѣляются на x , вновь познаваемое, и A , прежде познанное, при помощи чего познается это вновь познаваемое. Третій элементъ, возникающій, мы назовемъ a , въ знакъ того, что мы беремъ его изъ A . Эти комплексы всегда между собою разнородны. Возникающее слово всегда индизначительно, потому что x отличается отъ A и глав-

нымъ образомъ потому, что *a* отличается отъ *A*, а равно и отъ *x*; такъ какъ если я буду представлять себѣ корову только *рогатою* (*a*), то я оставлю цѣлую массу признаковъ безъ вниманія; это *a* по отношенію къ цѣлой массѣ признаковъ будетъ иносказаніемъ. *Tertium comparationis*, т. е. признакъ, по которому мы въ словѣ обозначаемъ вновь познаваемое, и называется *представленіемъ*. Этотъ терминъ *представленіе* не слѣдуетъ смѣшивать по значенію съ неопредѣленнымъ употребленіемъ этого слова для обозначенія разныхъ психологическихъ процессовъ мышленія. Какъ скоро мы допустимъ, что мы первую корову называли такъ, какъ она названа въ словѣ *корова*, т. е. рогатою, то дана возможность новымъ впечатлѣніямъ того же самаго рода группироваться около того же признака, около того же представленія; если первый разъ я назвалъ такъ животное *бурое*, то слѣдующее впечатлѣніе животного *страго* или *пестраго* расширяетъ значеніе представленія.

Названіе словомъ есть созданіе мысли нобой въ смыслѣ преобразованія, въ смыслѣ новой группировки прежняго запаса мысли подъ давленіемъ новаго впечатлѣнія или новаго вопроса. Слово не можетъ согласно съ этимъ, быть понятно, какъ выраженіе и средство сообщенія готовой мысли; оно вынуждается въ чловѣкѣ работой мысли; оно необходимо прежде всего для самого мыслящаго, потому что въ немъ оно производитъ это преобразование. Если оно, какъ намъ кажется, служитъ средствомъ для сообщенія мысли, то единственно потому, что оно въ слушающемъ про-

*

изводить процессъ созданія мысли, аналогичной тому, который происходилъ прежде въ говорящемъ. Другими словами, насъ понимаютъ только потому, что слушающіе сами, изъ своего мыслительнаго матеріала, способны продѣлать нѣчто подобное тому, что продѣлали мы, говоря. Говорить значитъ не передавать свою мысль другому, а только возбуждать въ другомъ его собственные мысли. Такимъ образомъ пониманіе въ смыслѣ передачи мысли, невозможно.

Сказанное о словѣ вполне примѣняется къ поэтическимъ произведеніямъ. Разница здѣсь между словомъ и поэтическимъ произведеніемъ только въ большей сложности послѣдняго.

Для чего слово нужно самому говорящему, можно объяснить нѣкоторымъ сравненіемъ. Можно ли играть въ шахматы безъ доски? Для этого нужно было бы помнить постоянно расположеніе фигуръ на доскѣ. И для исключительныхъ людей (съ особенными способностями въ этомъ отношеніи), которые могутъ удерживать въ головѣ расположеніе фигуръ на шахматной доскѣ, это сопряжено съ большимъ напряженіемъ мысли; для людей же, не обладающихъ такой способностью, это совершенно невозможно. Но и шахматисту, который можетъ играть въ шахматы не глядя на доску, немислимо было бы выучиться этому, не игравши прежде на доскѣ. Точно также можно думать музыкальными звуками, не издавая ихъ. Это трудно и для этого нужно значительное напряженіе, но музыкантъ можетъ думать звуками только послѣ продолжительнаго упражненія, когда онъ усвоилъ себѣ интервалы между

звуками. Человѣкъ такъ устроенъ, что можетъ судить о внутреннихъ своихъ процессахъ не иначе, какъ тѣмъ или другимъ способомъ обнаруживши эти процессы во внѣ, положивши, представивши ихъ передъ собой. Вещь, находящаяся передо мной, другая вещь кромѣ меня самого, называется объектомъ, иначе предметомъ. Для того, чтобъ узнать человѣку, что происходитъ въ немъ самомъ, узнать не съ тѣмъ, чтобъ чувствовать это непосредственно, но чтобъ судить объ этомъ, нужно выразить словомъ, объективировать внутреннее душевное событіе. Такимъ образомъ, въ языкѣ человѣкъ объективируетъ свою мысль и, благодаря этому, имѣетъ возможность задерживать передъ собою и подвергать обработкѣ эту мысль. По отношенію къ дальнѣйшей разработкѣ и совершенствованію мысли, слово играетъ такую роль, какъ машина, начиная съ простѣйшей, съ палки, играетъ по отношенію къ усовершенствованію механической производительности человѣка. Человѣкъ превосходитъ животное съ одной стороны словомъ, т. е. орудіемъ, которое онъ создалъ себѣ для совершенствованія мысли, съ другой—машиной, т. е. тѣмъ, что кромѣ органовъ своихъ, данныхъ ему природой, онъ создастъ для дѣйствій своихъ новые органы, орудія, начиная съ палки, рычага. Объективированіе мысли въ словѣ, когда человѣкъ какъ бы смотритъ на свою мысль, ставшую какъ бы внѣшнимъ предметомъ, есть выраженіе переносное. На самомъ дѣлѣ этого, конечно, не произошло. Это можно сравнить съ слѣдами ногъ, отпечатавшихся на пескѣ; за ними можно слѣдить, но это не значить, чтобы въ нихъ заключалась сама

нога; въ словѣ не заключается сама мысль, но отпечатокъ мысли. Когда мысль стала передъ человѣкомъ, какъ нѣчто внѣшнее, она этимъ заключила одинъ актъ своего развитія и вступила въ другой; она обозначила собою извѣстную ступень его развитія. Для насъ взрослыхъ появленіе новаго слова такъ незамѣтно, что провѣрить надъ собою это положеніе весьма трудно; но въ начинающемъ говорить дитяти это весьма замѣтно. Тамъ дѣйствительно, всякое новое слово и въ особенности всякая новая грамматическая форма, которую ребенокъ начинаетъ употреблять правильно, обозначаетъ собой такую ступень развитія, которая замѣтно различается отъ предъидущихъ и послѣдующихъ.

Поэтическое произведеніе, будучи такимъ же объективированіемъ мысли, какъ слово, также прежде всего нужно не для слушателей, не для публики, а для самого поэта. Оно есть созданіе мысли, въ смыслѣ преобразованія запаса мысли, который былъ до этого созданія. Слѣдовательно, вообще говоря, оно производитъ замѣтное измѣненіе въ этомъ запасѣ мыслей. Отсюда замѣчено, и ужъ не на основаніи соображенія, а а *posteriori*, на основаніи извѣстныхъ наблюденій, извѣстныхъ данныхъ, что всякое крупное, замѣчательное произведеніе поэта заканчиваетъ собою извѣстный періодъ его развитія.

На ысказанныхъ положеніяхъ нужно остановиться; требуется доказать, что поэтическое произведеніе нужно прежде всего для самого автора.

Лекція 9-я.

Всякое обобщеніе имѣетъ для насъ значеніе только въ томъ случаѣ, если мы безъ труда найдемъ конкретный случай. къ которому оно примѣняется и если мы сдѣлали, когда намъ нужно, это примѣненіе. Примѣненіе обобщеній, сдѣланныхъ мною до сихъ поръ, можетъ на практикѣ встрѣчать нѣкоторыя затрудненія. Обобщенія эти были слѣдующія: Всякое поэтическое произведеніе есть не исключительно, но главнымъ образомъ актъ познанія, притомъ актъ, предшествующій познанію прозаическому, научному. Отдѣльные моменты этого акта слѣдующіе: Во-первыхъ, мы должны имѣть извѣстный запасъ знаній, которымъ мы объясняемъ. Этотъ запасъ мы назвали A . Во-вторыхъ, мы имѣемъ передъ собою познаваемое, то что составляетъ въ данномъ случаѣ вопросъ. Это— x . Въ-третьихъ, мы сравниваемъ этотъ x съ A , и находимъ, что между ними есть нѣчто сходное, общее, которое обозначили черезъ a , на томъ основаніи, что оно берется изъ прежде познаннаго (A).

Другими словами, всякое поэтическое произведеніе можетъ быть подведено подъ формулу не уравненія математическаго, при которомъ обѣ уравниваемыя части

дѣйствительно равны между собою, а сравненія. То общее *а*, которое мы каждый разъ находимъ между вновь познаваемымъ и познаннымъ, называется *средствомъ сравненія*, или иначе *знакомъ*. *Знакъ* есть для насъ то, что указываетъ на *значеніе*. То, что мы называемъ въ словѣ *представленіемъ*, въ поэтическомъ произведеніи *образомъ*, можетъ быть названо *знакомъ значенія*. Это есть первое обобщеніе. Второе обобщеніе состоитъ въ томъ, что процессъ созданія слова или поэтического образа, вполне аналогиченъ съ процессомъ пониманія того и другого; т. е. когда мы понимаемъ услышанное отъ другого слово или поэтическое произведеніе, то въ насъ непременно возникаютъ тѣ же самые три элемента, но только въ другомъ порядкѣ. При созданіи поэтического произведенія въ то самое мгновеніе, когда *х* объясняется посредствомъ *А*, возникаетъ и *а*. При пониманіи же слушателю или читателю данъ прежде всего *знакъ*, т. е. *а*; но мы опять этотъ *знакъ* должны объяснить запасомъ нашей прежней мысли, т. е. *А*. Для насъ *а* должно послужить указаніемъ на наше познаваемое, т. е. на *х*. Изъ этой аналогичности акта творчества и акта познанія вытекаетъ то, что мы можемъ понимать поэтическое произведеніе настолько, насколько мы участвуемъ въ его созданіи. Это — парадоксально, но для того, чтобы свести этотъ парадоксъ къ истинной мѣрѣ, чтобы превратить его въ выраженіе дѣйствительнаго явленія, нужно вспомнить то, что было сказано прежде объ условіяхъ пониманія: что пониманіе состоитъ не въ

перенесеніи содержанія изъ одной головы въ другую, а только въ томъ, что въ силу сходнаго строенія человѣческой мысли, какой-нибудь знакъ, слово, изображеніе, музыкальный звукъ, служатъ средствомъ преобразования другого самостоятельнаго содержанія, находящагося въ мысли понимающаго.

Du gleichst dem Geist, den du begreifst говорить Мефистофель Фаусту, то есть, если ты способенъ понимать другого, ты до нѣкоторой степени ему равенъ. Если слово, звукъ будить въ тебѣ мысль, то, стало быть, эта мысль въ тебѣ находилась въ другомъ видѣ, неорганизованная, некристаллизованная, но никто тебѣ ее не далъ. Изъ этого положенія вытекаетъ и другое, имѣющее большую важность въ исторіи поэзіи и вообще въ исторіи литературы: что личность поэта, тѣ процессы, которые совершаются въ его душѣ, насколько они могутъ быть намъ извѣстны, для насъ представляютъ высокій интересъ, потому что они суть, въ сущности, процессы нашей души, души тѣхъ, которые понимаютъ и пользуются поэтическимъ произведеніемъ. Личность поэта исключительна лишь потому, что въ ней въ большей сосредоточенности находятся тѣ элементы, которые находятся и въ понимающемъ его произведеніи. Между поэтомъ и публикой его времени находится очень тѣсная связь, которая иногда проявляется въ фактахъ большой осязательности, напримѣръ, въ появленіи одновременно цѣлаго ряда типовъ, не только предшествующихъ тѣмъ типамъ, которые выведены извѣстнымъ

поэтомъ, но и слѣдующихъ за ними. По поводу пословицы: „изъ избы сору не выносить“, я указалъ на то, что до тѣхъ поръ, пока значеніе, заключенное въ изреченіи, имѣетъ для насъ буквальный смыслъ и не служить поэтическимъ образомъ, до тѣхъ поръ мы не получаемъ знака по отношенію къ значенію; только тогда, когда пословица получаетъ значеніе иносказательное, она получаетъ значеніе *знака*, и становится поэтическимъ произведеніемъ. Возьмемъ другой примѣръ: „Обсѣвокъ по неволѣ обойдешь“. Здѣсь нужно употребить нѣкоторое усиліе, чтобы разобрать, что сказано въ пословицѣ въ буквальномъ смыслѣ. *Обсѣвокъ* — это то мѣсто, которое при сѣяніи обходится; значить, когда жнешь, это мѣсто поневолѣ обойдешь. Въ буквальномъ смыслѣ это — положеніе прозаическаго, научнаго характера. Пословица эта взята изъ круга знаній земледѣльца, возникла въ крестьянскомъ быту. Въ какомъ случаѣ она можетъ получить поэтическое значеніе? Къ какому случаю можно примѣнить ее? Подобрать подобный примѣръ примѣненія бываетъ иногда очень трудно. Здѣсь мы наталкиваемся на то затрудненіе, которое встрѣчаемъ при обученіи дѣтей, сообщая имъ такое поэтическое произведеніе, какъ басня и пословица. Намъ дано прозаическое научное обобщеніе, которое для насъ не служить поэтическимъ образомъ, потому что примѣненія его значенія, для котораго оно можетъ быть знакомъ, мы не имѣемъ. Примѣненіе какого-нибудь поэтическаго произведенія состоитъ въ томъ, чтобы систематически собрать то содержаніе,

которое может группироваться около образа. Дитя не может имѣть достаточно жизненнаго опыта, чтобы найти кругъ примѣненій даннаго образа; если мы его нашли, то достаточно показать ребенку ближайшій случай примѣненій образа, затѣмъ дальнѣйшія обобщенія произойдутъ сами собою. Поэтическое произведеніе должно быть заучено, потому что новый актъ поэтическаго творчества, состоящій въ примѣненіи образа, какъ скоро явится новый *x* въ жизни, обусловливается тѣмъ, что въ памяти находится готовый поэтический образъ. Поэтому въ педагогическомъ отношеніи нельзя не рекомендовать заучиваніе поэтическихъ произведеній.

Всякій знакъ — многозначенъ; это есть свойство поэтическихъ произведеній. Пословица „обсѣвокъ по неволѣ обойдешь“ можетъ говорить не только то, что на негоднаго, ничтожнаго человѣка не обращаютъ вниманія, а можетъ быть и то, что человѣкъ съ существенными достоинствами, но лишенный тѣхъ условій, которыя нужны для общественной жизни, не попадаетъ на глаза; или, что существуетъ необходимость, чтобы подобные люди оставались незамѣтными. Мы можемъ указать нѣсколько случаевъ примѣненія поэтическаго образа; если они удачны, то рядъ подобныхъ новыхъ сравненій неисчерпаемъ.

„За что меня обнесли чарой зелена вина?“ Пословица эта взята изъ былинъ. До тѣхъ поръ, пока это говоритъ участникъ пира, это произведеніе не поэтическое; а если вмѣсто дѣйствительнаго пира представить себѣ жизненный пиръ, на которомъ обойдена из-

вѣстная личность, мы получимъ переносное значеніе, слѣдовательно, поэтическое произведеніе.

„Чужіе холсты настятся а нашихъ и въ суровѣхъ не бывало“.

Глаголь наститься произведенъ отъ слова *насть*— верхняя, обледенѣлая поверхность снѣга. *Холсты настятся* значить *бѣлятся*. Пословица эта возникла въ кругу крестьянскихъ женщинъ, которыя бѣлятъ холсты. Если это говорить о холстахъ, то изреченіе имѣетъ прозаическое значеніе; а поэтическимъ произведеніемъ оно становится, когда человѣкъ жалуется на свою участь, сравнивая ее съ участью другихъ, какъ напр. въ пѣснѣ „У сусіда хата біла“. „Гдѣ ладья ни рыщетъ, а у якоря будетъ“. Эта пословица взята изъ сферы мореплавателей—рыбаковъ. Къ какимъ случаямъ жизни примѣнима эта пословица? Ее можно примѣнить къ бо-гомольцу, который гдѣ ни ходитъ, а домой прійдетъ, къ смерти, къ которой, какъ къ пристани приходитъ все живущее; къ человѣку, котораго хотятъ удержать отъ чего-нибудь, посадить на привязи, но не могутъ. Относительно правильности или неправильности примѣненія пословицы мы, конечно, можемъ имѣть свое мнѣніе. Но если для говорящаго пословица служить отвѣтомъ на вопросъ, то другой этому не судья. Содержаніе поэтическаго произведенія не доказывается, *„на пословицу, какъ на дурака суда нѣтъ“*. Эта пословица вѣроятно примѣняется такимъ образомъ: въ просто-народьи пословица значить вообще *слово*, также и *прозвище*, стало быть, если кому пристало прозвище, то на это и суда нѣтъ.

„Одна голова и гудеть и пляшетъ“. Слово *густи* въ старину значило *играть* на музыкальномъ инструментѣ; отсюда слово *гусли* и *гудокъ*; стало быть, въ переводѣ: *одна голова и играетъ и пляшетъ*, примѣняется къ человѣку одинокому, не семейному; ему легче переносить невзгоды. Буквальный смыслъ пословицы: не всегда можно плясать подъ чужую музыку, за нее надо заплатить, а если играешь самъ, то дѣлаешь это, когда хочешь.

Я выбралъ пословицы, пониманіе которыхъ представляетъ нѣкоторое затрудненіе. Мы встрѣчаемся здѣсь съ такимъ явленіемъ, что пословицы являются намъ загадками, и это не случайно, потому что пословицу отдѣляетъ отъ загадки нѣчто очень второстепенное. Примѣръ: „Одно каже: свѣтай Боже, друге каже: не дай Боже, трете каже, мені все одно, що въ день, що въ ночі“. Это—загадка, и какъ загадка, есть поэтическое произведеніе. Она разгадывается такимъ образомъ: *свѣтай Боже*, это говоритъ окно, *не дай Боже* говоритъ дверь, потому что со свѣтомъ въ нее постоянно входятъ и выходятъ, это ей тяжело; *мнѣ все равно*, говоритъ поперечное бревно, поддерживающее потолокъ въ избѣ (сволокъ), и которому разумѣтся все равно, что день, что ночь. Это—загадка, пока разгадкой служить ближайшее: окно, дверь и сволокъ. Но, когда мы нашли ей примѣненіе къ житейскимъ явленіямъ, она становится пословицей. Подъ свѣтомъ, напримѣръ, можно разумѣть просвѣщеніе, подъ окномъ, дверью и балкой, людей различно къ нему относящихся.

„У притчи на конѣ не уйти“ т. е. отъ нея нельзя уйти на конѣ. О какой это притчѣ говорится? что это за притча? Пониманіе этой пословицы связано съ этимологіей, съ объясненіемъ отдѣльнаго слова. Въ старинномъ русскомъ языкѣ — *при-тѣча*, *при-тѣка*; тотъ, кто говоритъ притчи, назывался *приточникъ*, сторорусское *притѣчникъ*. Слово *притѣча* въ смыслѣ приткнутаго къ другому употреблялось въ двухъ значеніяхъ: во-первыхъ, въ значеніи несчастнаго случая — „вотъ притча случилась!“ Это значеніе очень древнее, оно встрѣчается уже въ памятникахъ XIII вѣка и позже. Между прочимъ въ Домостроѣ объясняется, что наказывая кого-нибудь, не слѣдуетъ бить куда попало и чѣмъ попало, потому что отъ этого бываютъ многія притѣчи: бываетъ слѣпота, глухота и т. д.

Второе значеніе этого слова слѣдующее. Въ разныхъ языкахъ мы встрѣчаемъ одинъ способъ выраженія сравненія; именно, сравненіе представляется вещественнымъ, матерьяльнымъ приближеніемъ вещей одной къ другой. Такъ, напр., въ санскритскомъ языкѣ выраженіе для сравненія значитъ то же, что и приложеніе, у насъ *примѣръ* значитъ примѣриванье, *примѣрять* значитъ приложить. Въ старинномъ языкѣ слово *притѣкнуть* употреблялось въ смыслѣ сравнивать. Такимъ образомъ, въ одномъ поученіи, которое дошло до насъ въ спискѣ 1200 годовъ въ сборникѣ, называемомъ „Златоструй“ говорится: „не принимайте въ дурную сторону, братья, что я васъ сравниваю съ собаками (не зазирайте мене.... понеже въ псѣхъ притѣчу....).

Что же послѣ этого значить: „у притчи и на конѣ не уйти?“ Значить: не уйти отъ несчастья. Несчастье представлялось въ видѣ самостоятельнаго женскаго существа, которое бѣжитъ, гонится за человѣкомъ, отъ котораго на конѣ не уйти. Есть картины, изображающія ѣдущаго всадника и не чувствующаго, что съ нимъ рядомъ ѣдетъ, или сидитъ у него за спиною смерть. Смыслъ этихъ картинъ аналогиченъ смыслу пословицъ: „у притчи на конѣ не уйти“, или „ты отъ горя прочь, а оно тебѣ всочь“. *Сочить* значитъ *слѣдить*. *Сочить* звѣря, значитъ слѣдить за звѣремъ; *осочникъ*—тотъ, который дѣлаетъ это, *осока*—облава, *всочь* (нарѣчіе) значитъ *вслѣдъ*; эти двѣ пословицы имѣютъ одинаковое значеніе.

Въ настоящее время мы очень часто встречаемся съ сужденіями такого рода: и зачѣмъ это Гёте не могъ обойтись безъ чертовщины? развѣ онъ не могъ выбрать образы, которые больше нравятся сотрудникамъ журнала „Дѣло“? зачѣмъ Тургеневъ играетъ на струнахъ мистицизма, то въ пѣснѣ торжествующей любви, то въ Кларѣ Миличъ? Это со стороны поэта есть нѣкоторая устарѣлость, отсталость; эти миѳическіе образы не нужны, вредны; дѣти могутъ пугаться ими (какъ будто дѣти такъ глупы, что если имъ говорятъ про вѣдьмъ, то они станутъ вѣрить, что такія вѣдьмы могутъ схватить ихъ). Я полагаю, что въ этомъ отношеніи, эти жалобы фальшивы, и въ примѣненіи къ поэту, онѣ заходятъ слишкомъ далеко, простираютъ деспотизмъ читателя въ такія сферы, въ которыя доступа нѣтъ. Читатель

воленъ читать или не читать произведенія поэта, на-
ходить ихъ хорошими или нѣтъ, но требовать, чтобы
они были такія, а не иныя, это какъ выразился Гёте:
съ сапогами въ чужую душу влѣзать. Если содержаніе
произведенія представляется такимъ, а не инымъ об-
разомъ, какъ его судить за это? Мы можемъ воспользо-
ваться имъ или нѣтъ, мы можемъ сказать, что этого
не понимаемъ и только; говорить же больше, говорить,
что дуракъ тотъ, который это понимаетъ, это ужъ слиш-
комъ много. Можемъ ли мы въ настоящее время, столь
далекое отъ миѳическаго, можемъ ли мы, употребляя,
напр., выраженіе „отъ притчи на конѣ не уйти“, пред-
ставлять себѣ, что эта притча гонится за нами, а мы
отъ нея уходимъ на конѣ? Конечно нѣтъ. Я думаю,
что жалобы критиковъ на устарѣлость этихъ образовъ,
суть жалобы на неспособность, на безсиліе понять,
расширить и углубить значеніе поэтическаго образа.
Конечно, сами критики могутъ этого и не подозрѣвать.

Лекція 10-я.

Все, что можно сказать о возникновении поэтического произведения и действии его на самого автора и на читателя, находится в тесной связи с вопросом об отношениях основных составных частей, или элементов поэтического произведения. Как бы ни было сложно поэтическое произведение, оно может быть сведено к следующей схемѣ: нѣчто, которое мы означаемъ черезъ x , неясное для автора, существующее въ видѣ вопроса для него, ищетъ отвѣта. Отвѣтъ авторъ можетъ найти только въ предшествующемъ, уже приобрѣтенномъ, или нарочно расширяемомъ содержаніи своей мысли. Это содержаніе мы означимъ черезъ A . Говоря иносказательно, въ этомъ A подъ вліяніемъ x происходитъ нѣкоторое движеніе, беспокойство, волненіе; x какъ будто отталкиваетъ изъ A все для него неподходящее и привлекаетъ сродное: это послѣднее соединяется въ образѣ a и происходитъ сужденіе: x я представляю себѣ въ видѣ a . Это тотъ самый процессъ, который мы замѣчаемъ въ возникновеніи отдѣльнаго слова; a есть то, что мы называемъ представленіемъ въ словѣ, образомъ въ поэтическомъ произведеніи или то, что мы называемъ совокупностью

образовъ, если поэтическое произведеніе сложное. Для понимающаго (т. е. читателя) существуетъ только готовое поэтическое произведеніе. Пониманіе есть повтореніе процесса творчества въ измѣненномъ порядкѣ, о чемъ уже было говорено. Слѣдовательно, подъ *а*, понимающій будетъ непремѣнно разумѣть свой вопросъ, свое *х*. Спрашивается, имѣетъ ли для насъ какую-нибудь цѣну узнать, что именно разумѣлъ поэтъ подъ своимъ вопросомъ, что именно его тревожило? Хотя напередъ мы должны сказать, что чужая душа потемки, но тѣмъ не менѣе, въ силу обстоятельства, указаннаго мною прежде, въ силу типичности самого поэта, въ силу того, что онъ въ извѣстной мѣрѣ есть характерный образецъ своего читателя, самому читателю не можетъ быть безразлично, что разумѣлъ поэтъ подъ своимъ *х* и потому, на сколько это доступно, оно заслуживаетъ изслѣдованія. Относительно писателей прошлыхъ вѣковъ въ девяти десятихъ, или еще большемъ числѣ случаевъ, мы лишены возможности опредѣлить съ точностью это *х*. Въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ мы находимся относительно писателей нашего времени, если располагаемъ нѣкоторыми свѣдѣніями о ихъ жизни и если (это особенно важно) извѣстное поэтическое произведеніе является у нихъ не единственнымъ въ своемъ родѣ.

Мы замѣчаемъ очень часто, что извѣстный *х*, извѣстный вопросъ, тревожащій писателя, уясняется для него самого не однимъ актомъ сознанія, не однимъ произведеніемъ, а послѣдовательнымъ рядомъ произ-

веденій, рядомъ, который нерѣдко, какъ мы знаемъ относительно Пушкина и другихъ, располагается въ прогрессивномъ порядкѣ, т. е. что рядъ отвѣтовъ на извѣстный x становится все опредѣленнѣе и яснѣе по направленію къ концу. Сопоставленіе этихъ произведеній, отвѣчающихъ на сходные вопросы, разъясняетъ намъ до нѣкоторой степени самое свойство этихъ вопросовъ. Если настроеніе поэта субъективно, т. е. если въ немъ преобладаетъ лиризмъ, если главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, главной натурой (говоря языкомъ живописца), для поэта является онъ самъ, то послѣдовательный рядъ отвѣтовъ на искомое обозначаетъ собою рядъ ступеней самопознанія. Сущность не измѣняется, если познаваемымъ будетъ не самъ писатель, а извѣстныя общественныя отношенія, которыя занимаютъ его и находятся въ тѣсной связи съ его личной жизнью. Я сказалъ, что возникновеніе поэтического образа слѣдуетъ за извѣстнымъ волненіемъ, за извѣстнымъ напряженіемъ. Это не заключаетъ въ себѣ ничего характеристичнаго, и примѣняется ко всякой работѣ мысли. Дѣятельность поэта есть работа мысли, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ весьма сходная съ мыслью научной. Если созданіе образа есть для поэта неотложная нужда, то поэтъ для выраженія своей мысли непременно будетъ хвататься за первое попавшееся средство. Ему некогда думать о томъ, что скажетъ о немъ читатель; ему некогда отыскивать средства, т. е. образы, которые показались бы читателю новыми. Здѣсь наблюдается тоже самое, что мы замѣчаемъ въ людяхъ серьезной

*

мысли относительно словесныхъ выраженій.— Кто разскаиваетъ слово не съ тѣмъ, чтобы возможно точнѣе выразить мысль, а чтобы сказать по красивѣе, тотъ не придаетъ серьезнаго значенія мысли для себя. Гёте говоритъ въ Фаустѣ: Wann einem ernst ist was zu sagen, ist's nötig Worten nachzujagen, т. е. если кому серьезно нужно что-нибудь сказать, развѣ нужно ему гоняться за словами? Отсюда объясняется, что настоящіе поэты не тѣ, которые стараются казаться такими и дѣлаютъ изъ поэзіи продажное ремесло, а тѣ для которыхъ это есть дѣло ихъ души, что такіе поэты весьма часто берутъ готовыя формы для своихъ произведеній. Но разумѣется, такъ какъ содержаніе ихъ мысли представляетъ много особенностей, то они неизбѣжно влагаютъ въ эти готовыя формы новое содержаніе и тѣмъ измѣняютъ эти формы. Извѣстно, что Пушкинъ имѣлъ огромное вліяніе на всѣхъ послѣдующихъ поэтовъ, но не всѣмъ одинаково видно, какъ тѣсна была эта связь въ формахъ.

Возьмемъ для примѣра извѣстное стихотвореніе Лермонтова „Три пальмы“ и слѣдующее мѣсто изъ подражанія корану:

И путникъ усталый на Бога ропталъ,
Онъ жаждой томился и тѣни алкалъ,
Въ пустынь блуждая три дня и три ночи!
И зноемъ и пылью тягчимыя очи
Съ тоской безнадежной водилъ онъ вокругъ,
И кладезь подъ пальмою видитъ онъ вдругъ...
И къ пальмѣ пустынной онъ бѣгъ устремилъ,

И жадно холодной струей освѣжилъ
Горѣвшіе тяжко языкъ и зѣницы,
И легъ, и заснулъ онъ близъ вѣрной ослицы.
И многіе годы надъ нимъ протекли,
По волѣ владыки небесъ и земли.
Насталъ пробужденья для путника часъ;
Встаетъ онъ и слышитъ невѣдомый гласъ:
„Давно ли въ пустынь заснулъ ты глубоко?“
И онъ отвѣчаетъ:—ужъ солнце высоко
На утреннемъ небѣ сіяло вчера;
Съ утра я глубоко проспалъ до утра. —
Но голосъ: „о путникъ, ты долѣ спалъ;
Взгляни: легъ ты молодъ, а старцемъ возсталъ;
Ужъ пальма истлѣла, а кладезь холодный
Изякъ и засохнулъ въ пустынь безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости бѣлѣютъ ослицы твоей“.
И горемъ объятый, мгновенный старикъ,
Рыдая, дрожащей главою поникъ.....
И чудо въ пустынь тогда совершилось —
Минувшее въ новой красѣ оживилось:
Вновь зыблется пальма тѣнистой главой;
Вновь кладезь наполненъ прохладою и мглой.
И ветхія кости ослицы встаютъ,
И тѣломъ одѣлись, и ревъ издаютъ;
И чувствуетъ путникъ и силу, и радость;
Въ крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь;
И съ Богомъ онъ далѣ пускается въ путь.

Тутъ мы имѣемъ возможность до нѣкоторой степени опредѣлить, что, по отношенію къ стихотворенію „Три пальмы“, въ составъ *А* между прочимъ входило и это стихотвореніе Пушкина, которое опредѣлило собою размѣръ и общій тонъ стихотворенія „Три пальмы“; даже больше—извѣстныя формы, извѣстныя окончанія стиховъ въ обоихъ стихотвореніяхъ одинаковы и указываютъ на заимствованіе. Однако образы въ обоихъ стихотвореніяхъ — различны. Каково *х* по отношенію къ стихотворенію „Три пальмы“? Это мнѣ кажется загадочно, и стоитъ изысканія. Я постараюсь указать рядъ находящихся между собою въ связи отвѣтовъ на одно *х* Лермонтова, къ числу которыхъ принадлежитъ вѣроятно и стихотвореніе „Три пальмы“. Если устранить подробности, то сила стихотворенія сосредоточивается на слѣдующемъ:

Въ песчаныхъ степяхъ арвійской земли
Три гордыя пальмы высоко росли.
Родникъ между ними изъ почвы безплодной
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый подъ сѣнью зеленыхъ листовъ
Отъ знойныхъ лучей и летучихъ песковъ.
И многіе годы неслышно прошли;
Но странникъ усталый, изъ чуждой земли,
Пылающей грудью ко влагъ студеной
Еще не склонялся подъ кущей зеленой,
И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ лучей
Роскошныя листья и звучный ручей.

Въ чемъ характерная черта этого образа? Пальмы недовольны своей судьбой, онѣ хотятъ волненій,

тревогъ, блеска, полноты жизни.... Въ результатѣ получилось то, о чемъ говорится въ концѣ стихотворенія.

Но только-что сумракъ на землю упалъ,
По корнямъ упругимъ топоръ застучалъ—
И пали безъ жизни питомцы столѣтій!
Одежду ихъ сорвали малыя дѣти,
Изрублены были тѣла ихъ потомъ,
И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.
Когда же на западъ умчался туманъ,
Урочный свой путь совершалъ караванъ;
И слѣдомъ печальнымъ на почвѣ бесплодной
Виднѣлся лишь пепелъ сѣдой и холодный;
И солнце остатки сухіе дожгло,
А вѣтромъ ихъ въ степи потомъ разнесло.
И нынѣ все дико и пусто кругомъ....

Думать, что авторъ изображаетъ здѣсь свое личное состояніе, мы не имѣли бы основанія, если бы передъ нами находилось только это стихотвореніе; но мы его можемъ сопоставить съ нѣкоторыми другими.

По поводу стихотворенія „Парусъ“ замѣчу, что свойство настоящаго поэта, т. е. не великаго непремѣнно, а искренняго (какъ во всякомъ занятіи, такъ и въ этомъ не мало людей другого разбора), это возможности писать съ натуры.

Изъ біографическихъ данныхъ, которыя мы имѣемъ относительно Пушкина и Лермонтова, все яснѣе и яснѣе выводится доказательство того, что многое, что, запримѣръ, Бѣлинскій, согласно съ философскими возрѣніями, подъ вліяніемъ которыхъ онъ самъ находилъ

ся, считалъ созданіемъ изъ ничего, что многое изъ этого оказывается писаннымъ съ натуры. Такимъ образомъ въ одномъ изъ писемъ Лермонтова мы находимъ указаніе на то, что стихотвореніе „Парусъ“ написано имъ до 2-го Сентября 1832 г. на берегу моря *). На основаніи другого подобнаго случая, на основаніи стихотворенія „Вѣтка Палестины“, которое было написано въ продолженіе получаса у Муравьева, путешествовавшаго къ Святымъ мѣстамъ и у котораго Лермонтовъ дѣйствительно видѣлъ пальмовую вѣтвь передъ иконой, можно предположить, что и стихотвореніе „Парусъ“ сложилось въ нѣсколько минутъ, когда авторъ смотрѣлъ на парусъ. Но онъ выражалъ то, что видѣлъ, не объективно, а вкладывалъ въ это изображеніе нѣчто такое, чего въ натурѣ очевидно быть не могло:

Бѣлѣтъ парусъ одинокій

Въ туманѣ моря голубомъ....

Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?

Что кинулъ онъ въ краю родномъ?

Играютъ волны; вѣтеръ свищетъ,

И мачта гнется и скрипитъ.....

Увы! онъ счастья не ищетъ,

И не отъ счастья бѣжить!

Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури,

Надъ нимъ лучъ солнца золотой;

А онъ, мятежный, проситъ бури,

Какъ будто въ буряхъ есть покой!

Онъ спрашиваетъ: „что ищетъ онъ въ странѣ далекой?“ „что кинулъ онъ въ краю родномъ?“ Слѣдова-

*) Письмо къ М. А. Лопухиной, 1832.

тельно, онъ имѣть въ виду извѣстное душевное состояніе, свое или чужое, которое можно назвать искаженіемъ въ странѣ далекой, оставленіемъ въ краю родномъ. Тотъ же характеръ имѣть и послѣднее четверостишіе.

Я полагаю, что простого сопоставленія стихотвореній „Три пальмы“ и „Парусъ“ достаточно, чтобы опредѣлить общее свойство того образа, который представленъ въ первомъ стихотвореніи *тремя пальмами*, а во второмъ *кораблемъ*.

Я упомянулъ выше, что, когда мы имѣемъ рядъ послѣдовательныхъ отвѣтовъ автора на одинъ и тотъ же вопросъ, то послѣдующіе отвѣты становятся все опредѣленнѣе и опредѣленнѣе, все яснѣе и яснѣе, все менѣе и менѣе иносказательными. Я остановлюсь на опредѣленіи слова *иносказательность*.

Есть два рода иносказательности: въ одномъ—образъ принадлежитъ къ другому порядку явленій, чѣмъ его значеніе, напримѣръ въ настоящемъ случаѣ съ одной стороны корабль, съ другой — человѣкъ. Въ другомъ—образъ и значеніе принадлежатъ къ одному и тому же порядку явленій. Это обыкновенная художественная типичность. Когда мы смотримъ на портретъ неизвѣстнаго человѣка, мы говоримъ, что не знаемъ, кого въ частности изображаетъ портретъ, но мы знаемъ такихъ людей. Рядъ послѣдовательныхъ отвѣтовъ на одинъ и тотъ же вопросъ переходитъ отъ иносказательности перваго рода къ иносказательности второго.

Рядомъ съ четверостишіемъ: „Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазури“ и т. д., какъ образомъ безучастія, равно-

душія къ окружающему, можно привести нѣсколько строкъ изъ „Героя нашего времени“ (въ концѣ I-ой главы журнала Печорина „Тамань“.) Странствующій офицеръ впутался въ жизнь „честныхъ контрабандистовъ“, разрушилъ покой ихъ, заставилъ ихъ переселиться, и вотъ заключительныя слова его разсказа объ этомъ: „что случилось со старухой и бѣднымъ слѣпымъ — не знаю. Да и какое дѣло мнѣ до радостей и бѣдствій человѣческихъ, мнѣ, странствующему офицеру, да еще съ подорожной по казенной надобности“.....

Тоже самое выражено гораздо полнѣе во II-й главѣ „Княжна Мери“, именно, послѣ объясненія съ княжной въ заключительныхъ словахъ разсказа:

„И теперь здѣсь, въ этой скучной крѣпости, я часто, пробѣгая мыслію прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Нѣтъ, я бы не ужился съ этой долею! Я, какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роша, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный нарусь, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по малу отдѣляющійся

отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани.....“

Съ кого списано это, на сколько это субъективно, это остается вопросомъ, хотя обыкновенно съ полнымъ основаніемъ думаютъ, что авторъ здѣсь говоритъ о самомъ себѣ. Во всякомъ случаѣ, этотъ образъ примѣняется къ отдѣльному человѣку; но вотъ примѣненіе того же самого къ человѣчеству въ извѣстномъ стихотвореніи „Валерикъ“:

Я думалъ: жалкій человѣкъ.
Чего онъ хочетъ? Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ.... зачѣмъ?

Подобныхъ рядовъ образовъ можно представить много, для нѣкоторыхъ поэтовъ — по нѣсколько. Изъ этого упорства мысли, характернаго для многихъ поэтовъ, на примѣръ, для Гёте, изъ того, что созданіе ими извѣстныхъ образовъ, и стало быть, отвѣтовъ на извѣстные вопросы тянется цѣлые годы, отъ молодости до старости; изъ этой настойчивости вопросовъ мы имѣемъ основаніе заключить о важности этихъ вопросовъ для самого автора. Разсматривая отдѣльные акты, на которые раздѣляется это исканіе, мы можемъ априорно сказать, что чѣмъ настойчивѣе вопросъ, чѣмъ тревожнѣе состояніе при рожденіи мысли, тѣмъ должно быть желаннѣе чувство успокоенія, проясненія мысли, сопровождающее рожденіе образа. Объ этомъ мы можемъ въ значительной мѣрѣ судить по себѣ, потому

что состояніе души поэта не составляет чего-нибудь исключительнаго, но свойственно и другимъ людямъ; въ меньшемъ размѣрѣ и они могутъ чувствовать безпокойство мысли, не дошедшей до своей ясности. Относительно поэтовъ мы имѣемъ цѣлый рядъ признаній, какъ успокоительно дѣйствуетъ созданіе поэтическаго образа. Сюда, между прочимъ, относится слѣдующее мѣсто въ сказкѣ для дѣтей Лермонтова:

Кипя огнемъ и силой юныхъ лѣтъ,
Я прежде пѣлъ про демона иного:
То былъ безумный, страстный, дѣтскій бредъ.....
Демонъ былъ передѣланъ авторомъ четыре или
пять разъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

Но я не такъ всегда воображалъ
Врага святыхъ и чистыхъ побужденій.
Мой юный умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній,
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебной-сладкой красоты,
Что было страшно..... И душа тоскою
Сжималася—и этотъ дикій бредъ
Преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ.
Но я, разставшись съ прочими мечтами,
И отъ него отдѣлался—стихами!

Это—указаніе на извѣстное явленіе, о которомъ нѣсколько разъ говоритъ Пушкинъ: что созданіе образа заканчивается собою извѣстный періодъ развитія душевной жизни, такъ, что человѣкъ, оглядываясь назадъ, находитъ, что и самъ этотъ образъ и то, изъ чего онъ возникъ, для него стало чужое.

Тоже въ стихотвореніи Тютчева „Поэзія“.

Среди громовъ, среди огней,
Среди клокочущихъ зыбей,
Въ стихійномъ пламенномъ раздорѣ,
Она съ небесъ слетаетъ къ намъ—
Небесная—къ земнымъ сынамъ,
Съ лазурной ясностью во взорѣ,
И на бунтующее море
Льетъ примирительный елей.

Мнѣ кажется, не лишено интереса, что созданіе образа падаетъ именно не на продолженіе періода волненія, исканія, тревоги, а на конецъ его. Сюда относится мѣсто изъ первой главы Евгенія Онѣгина Пушкина (строфы 57, 58, 59):

Замѣчу кстати: всѣ поэты—
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мнѣ снились, и душа моя
Ихъ образъ тайный сохранила;
Ихъ послѣ муза оживила....
Теперь отъ васъ, мои друзья,
Вопросъ нерѣдко слышу я:
„О комъ твоя вздыхаетъ лира?
Кому, въ толпѣ ревнивыхъ дѣвъ,
Ты посвятилъ ея напѣвъ?
Чей взоръ, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградишь
Твое задумчивое пѣнье?
Кого твой стихъ боготворилъ?“

И въ „Мцыри“:

Все лучше передъ кѣмъ-нибудь
Словами облегчить мнѣ грудь;
Но людямъ я не дѣлалъ зла,
И потому мои дѣла
Не много пользы вамъ узнать —
А душу ль можно рассказать?

Сюда относится одно стихотвореніе Тютчева *Silentium*, которое окажется совершенно нелѣпымъ, какъ только мы вздумаемъ обратить его въ прозу, т. е. если бы понимали его буквально:

Молчи, скрывайся и тай
И чувства, и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
И всходятъ, и зайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи.
Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!
Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй!
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Тайнственно—волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушить наружный шумъ,
Дневные ослѣпять лучи:
Внимай ихъ пѣнью и молчи.

Просить читателей исправить важнѣйшія погрѣшности.

Стран.	Строка сверху.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
1	17	что-бы	чтобы
6	9	слишимъ	слышимъ
8	3	Стезихаръ	Стезихоръ
11	18	,	.
17	1—4	—	" "
19	2	по этому	поэтому
20	13	соторныхъ	которыхъ
27	24	изображаемый	изображаемый
80	16	,	;
88	4	—	“
—	12	латинское	греческое
—	23	изображается	представляется
34	11	единочное	единичное
—	28	παραβολή	παραβολή
38	18	ix	ix
48	11	сношеніямъ	отношеніямъ
49	10	снача	сначала
50	5	homo sapiens	homo sapiens
—	14	басни,	басни
—	25	А.	А
51	2	впредь	впередъ
—	4	Б.	Б,
52	17	эта	есть
—	24	встрѣчаются	встрѣчаются
—	27	то вполне	вполнѣ
56	11	Эзоповскій	Эзоповской
57	14	Примѣчанія...	Библиогр. и биогр. пр...
58	13	Бабрій	Бабрій,
—	20	тогда такія обобщенія, были бы невозможны	были бы не возможны

II.

Стран.	Строка сверху.	Напечатано.	Слѣдуетъ.
60	25	это	, это,
61	24	пресѣчься	пересѣчься
64	24—28	Такъ какъ...	(Такъ какъ....
		... равныя доли:	... равныя доли):
80	23	предшествуетъ	образъ предшествуетъ
91	4	сдѣлавшагося	сдѣлавшагося
102	18	синтаксической	синтактической
105	18	говоритъ	горитъ
107	26	произведение	произведение,
111	7	пону́тру	по ну́тру
114	14	такое состояніе слова	такому состоянію слова
—	16—17	что такому состоянію слова всегда	всегда
120	18	Liebesföckel	Liebestöckel
122	25	изсѣдованіе	изслѣдованіе
123	10	познакомились	познакомился
133	28	произошло	происходитъ
143	21	Мимичъ	Мниичъ
153	30	равон	равно—
154	29	сначала	сначала
156	19	красоты	красотой